

Детлеф Крамер

# Истории одного плена

В память о тех,  
чьих имен я так и не узнал  
и кого мне не удалось разыскать,  
кто увидел в бывшем враге человека,  
кто помог выжить  
и не дал утратить надежду

«МЕМОРИАЛ»

Детлеф Крамер

# Истории одного плена

Общество «Мемориал» –  
Издательство «Звенья»

Москва 2002

ББК 84(4Гем)  
К78

**Cramer, Detlev**  
**Geschichten einer Gefangenschaft, 2000**

Перевод Анны Шор-Чудновской

Издание осуществлено  
при поддержке  
фонда «Zeit» (Гамбург)  
и благодаря организационной  
помощи Общества «Мемориал»  
(Берлин/Москва)

ISBN 5-7870-0063-3

© Детлеф Крамер, автор, 2002  
© Анна Шор-Чудновская, перевод, 2002  
© Общество «Мемориал» 2002  
© А.А.Кулаков, оформление, 2002

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В немецкий язык несколько десятилетий назад вошло слово «Erinnerungskultur» – «культура памяти». После Второй мировой войны немецкое общество выработало особое, трепетное отношение к памяти. Помнить следует в первую очередь в чем и перед кем ты виноват, и уже только во вторую – о своих победах и заслугах. Такая память целомудренна.

Знать свою историю, помнить о ней, чтобы гордиться ею, – это значит не чувствовать себя ответственным. Ответственность приходит с чувством вины и раскаянием. «Культура памяти» – это культура совести, культура ответственности. Совершивший преступление несет ответственность за то, чтобы оно больше никогда – ни им, ни кем-нибудь другим – совершено не было. Таким образом «культура памяти» становится еще и трепетным отношением к будущему.

Детлеф Крамер был призван на фронт в апреле 1945 года, в возрасте девятнадцати лет. Вернуться домой ему удалось только в 1948 году – после трех с половиной лет советских лагерей для немецких военнопленных.

Вплоть до сегодняшнего дня Детлеф Крамер, похоронивший в лагерях многих своих товарищей, уверен, что выжил только благодаря помощи людей, с которыми его сталкивал случай, – советских людей, бывших врагов, многие из которых в войне с его родиной потеряли близких.

Детлефу Крамеру понадобилось по возвращении на родину несколько лет, чтобы оправиться от пережитого в советских лагерях, но он ничего не забыл. Читая его рассказы, потрясаешься количеством подробностей, казалось бы, неинтересных, незначительных, с которыми не удастся справиться автору, которые проникают в текст чуть ли не помимо его воли – из переполненной памяти.

Одним из самых сильных впечатлений оказывается поведение гражданского населения, тех людей, которые помогают ему выжить, – а это значит помогают когда-нибудь вернуться домой, в Германию. В человеке побеждает доброта и милосердие – даже по отношению к бывшему врагу. Сам Детлеф Крамер, как он сегодня считает, знал тогда о фашизме и его преступлениях очень мало, знание это пришло потом, уже после плена, когда Германия в течение долгих десятилетий публично раскаивалась и брала на себя ответственность за все нацистские преступления. В 1945 году советские люди знали о фашизме гораздо больше, чем девятнадцатилетний военнопленный Крамер. Тем удивительней были их доброта и милосердие.

Детлеф Крамер написал четырнадцать маленьких рассказов о советском плене, двенадцать из которых вошли в цикл «Истории одного плена». Таким образом он нашел для себя возможность поблагодарить всех, кто помогал ему. Вспомнить о них. Он уверен, что это очень много – вспомнить. За долгие десятилетия покаяния Германия научилась помнить, она воспитала в своих гражданах «культуру памяти».

**Анна Шор–Чудновская**

*Русское издание книги  
дает автору  
возможность высказать  
благодарность стране,  
в которой ему  
помогли выжить, –  
к сожалению, тех людей,  
кто помог тогда,  
автору разыскать  
не удалось*



## Разговор в комнате пастора

В ОДИН ИЗ ФЕВРАЛЬСКИХ ДНЕЙ 1948 года я вернулся под вечер в составе землекопной бригады в лагерь Елшанка. Мы работали под Саратовым на прокладке газопровода Саратов–Москва уже третий год. Начальник караула вызвал меня из колонны и приказал явиться к немецкому политруку, который, служа в русской комендатуре, был приравнен к комиссару и отвечал за образ мыслей своих соотечественников.

Из-за предыдущих стычек отношения у меня с ним были напряженные. В своем надземном бараке (пленные жили в земляных бункерах) он неоднократно требовал от меня разъяснений моего понимания чувства собственного достоинства.

– Как ты можешь просить у русских женщин хлеб? Мы же имеем больше, чем гражданское население.

– Вы не знаете, что такое голод. У вас – аппетит. Вашу ежедневную порцию хлеба вы меняете на молоко, фрукты, лук и помидоры.

– А ты попрошайничаешь.

– Я видел, как моя мать совала русским военнопленным, таскавшим нам уголь в подвал, завернутые куски хлеба с маслом. И мне ничего не стоит попросить у русских женщин сухие кусочки, которые им выдают для соблюдения точной нормы хлеба.

И вот я опять по вызову стоял перед ним, – одетым в сшитую на заказ белую рубашку с пестрой тесьмой, – как подданный перед пришедшим к власти выскочкой, присвоившим себе право расширить доставшиеся ему полномочия вплоть до решения вопросов жизни и смерти.

Он обратился ко мне по-деловому:

– Я получил одно сообщение. Советская военная администрация в Халле отдает должное работе твоего отца. Благодаря этому ты должен был ехать с ближайшим транспортом домой, но я убедил НКВД в том, что нам в Германии такие люди, как ты, не нужны. Поэтому ты остаешься здесь.

Заметив мою оторопь, он добавил:

– Это все, ты можешь идти.

Ужас от только что услышанного мгновенно вызвал в моей памяти слова из повести Пушкина «Выстрел»: «С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении».

Слова эти не отпускали меня всю жизнь – несмотря или, может быть, именно благодаря неоднократно оказанной русскими людьми помощи, позволившей мне выжить.

Летом 1947 года я прочел «Выстрел» в лазарете – в переводе на немецкий, из библиотеки саратовской немецкой школы. История эта не давала мне покоя. Я читал ее неоднократно и по возвращении домой, представляя себе новую встречу с немецким политруком: мои прямые вопросы, разговор друг с другом – когда-нибудь в жизни! – в новых обстоятельствах, в которых наново могло бы быть распределено, кто внизу, а кто наверху...

Когда я вернулся в конце ноября 1948 года домой, мы с семьей просидели все вместе три дня и три ночи за круглым столом в нашей гостиной, прерываясь лишь на короткий сон, пока не иссяк поток моего рассказа о трех с половиной годах плена.

Только раз прервал меня отец и рассказал о событиях февраля 1948 года, предыстория которых относилась к празднованию Нового года. Занятая советскими войсками территория Германии тогда еще не стала ГДР. Русский комендант города Халле устроил на Новый год прием в одном из ресторанов. Приглашен был и мой отец.

Сразу после капитуляции отец был призван покинуть управление города Мерзебург, где служил в качестве заведующего отделом здравоохранения земельной администрации, и занять ту же должность в новом земельном управлении в Халле.

Благодаря тяжелому ранению в Первой мировой войне, отцу удалось в свое время избежать вступления в национал-социалистическую рабочую партию Германии. Он был направлен восстанавливать систему здравоохранения к русской уполномоченной военного ведомства по санитарным вопросам, старшему лейтенанту, которая Гете знала намного лучше, чем мой отец Пушкина.

На новогоднем приеме комендант спросил отца о семье. Так он узнал, что его сын находится в плену.

Через несколько дней он взял у отца номер моего лагеря, известный по немногим открыткам Красного Креста\*, содержащим, как тогда разрешалось, не более двадцати восьми слов.

Спустя шесть недель немецкий политрук в том самом лагере, в России, свел на нет гуманное вмешательство русского коменданта в Германии.

Через двадцать два года после того, как в феврале 1948 года я был лишен возможности вернуться домой, я

---

\* Красный Крест брал на себя обеспечение военнопленных почтовой связью с родными с помощью специальных открыток. (Здесь и далее **примечания переводчика.**)

получил в поисковой службе Красного Креста в Мюнхене адрес тогдашнего немецкого политрука.

Меня сопровождала одна моя подруга, на тот случай, если после определенного времени я не вернусь к поджидавшей меня машине.

Не предупредив о себе, мы подъехали к стоящему в глубине сада частному дому на одну семью. Подруга заметила мое нарастающее волнение и предложила разыскать прежде местного евангелического пастора, бывшего сокурсника ее брата, чтобы справиться у него об этом человеке.

Застигнутый врасплох, пастор обрадовался привету от сокурсника, но никак не мог уделить нам внимание: через пять минут у него начинался урок для конфирмантов. Он предложил мне вкратце изложить дело и договориться о встрече для подробной беседы. Я назвал причину своего внезапного посещения. Поняв, что я хочу видеть одного из членов его общины, пастор попросил жену пойти вместо него на урок и пригласил меня в свой кабинет.

– Ваша история слишком необычна. Я больше никуда не тороплюсь, – начал он наш разговор.

Мы сидели друг против друга.

– Как вы относитесь к христианству?

– Вы хотите знать, верю ли я в справедливость земную или в потустороннюю?

– И в какую же вы верите?

– В конечном счете в потустороннюю. С тем лишь ограничением, что каждый должен еще на земле знать, что совершенное им никогда не будет забыто.

Я рассказал немного о своем плене.

Пастор молча меня выслушал.

Потом он описал мне бывшего политрука как активного

члена совета церковной общины, который отвечает за школы. По профессии он закройщик на фабрике верхней женской одежды.

– Он член коммунистической партии?

– Почему вы так решили?

– Действовавший по убеждению мог бы остаться верным себе.

– Нет, он не остался.

– Он вовсе беспартийный или в какой-то партии?

– Он принадлежит к той партии, в которой состоит большинство прихожан этой церкви\*.

Чуть позже мы вернулись к дому члена совета церковной общины. Дверь открыла его жена.

– Я хотел бы видеть вашего мужа. Мы знакомы по плену.

– Мой муж лежит в постели с очень высокой температурой. Он не может никого принять.

– Скажите ему, пожалуйста, что один товарищ по лагерю Елшанка стоит в дверях и хочет его видеть. И когда мне снова представится случай попасть из Берлина так далеко от западногерманской границы, неизвестно\*\*.

Она пошла наверх.

Потом вернулась: «Вы можете подняться».

На двуспальной кровати, с краю, в совершенно мокрой от пота пижаме лежал человек с капельками пота на лбу под слипшимися волосами. Из его хрипящего рта торчали коричневые от курева, больные зубы.

Мы жестом поприветствовали друг друга.

---

\* Имеется в виду консервативная партия Германии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

\*\* Автор жил в то время в Западном Берлине. Для жителей Западного Берлина поездки в ФРГ были сопряжены с множеством формальностей в связи с необходимостью пересекать территорию ГДР.

Я поблагодарил его за то, что он позволил мне подняться, и напомнил ему кое-что из лагерной жизни: как он носил аккуратную, по фигуре сшитую, одежду, как был особо расквартирован в доме с летними ящиками для цветов, как участвовал в учебном лагере антифашистов в Красногорске, недалеко от Москвы.

Он вспомнил. Он кивнул.

– Вы были у русских уважаемым человеком. Благодаря вашим антифашистским убеждениям, вам можно было доверять.

Он вспомнил. Он улыбнулся.

– Почему вам не удалось отнестись с пониманием к тому, что я просил у русских женщин краюшки хлеба?

Он молча смотрел на меня.

– Вы никогда не испытывали чувства голода, а меня, голодающего, вы судили громкими словами о немецком достоинстве.

Его жена попросила: «Не мучайте его».

– Где было ваше достоинство, когда в феврале 1948 года вы отказали мне в возвращении домой, позволенном мне русским офицером. Вы надменно заключили, что такие люди, как я, Германии пригодиться не могут!

Обвинения мучили его. Беспокойство сверкало в его глазах. Он ворочал из стороны в сторону головой.

Жена его плакала.

– Мой муж не мог так поступить. Это совсем ему несвойственно. Это он позаботился о том, чтобы в лагере были отменены телесные наказания.

Я ответил на это:

– Сегодня это больше не подходит члену совета церковной общины. Тогда это подходило политруку.

«"Я сделал это", – говорит мне мое сознание. "Я не мог этого сделать", – говорит моя гордость. В конце концов

сознание уступает». Эти слова Ницше я запомнил из одной лекции...

Я попрощался:

– Двадцать два года ждал я этой встречи. Если вы пожелаете понять, почему я хотел вас снова увидеть, прочтите как-нибудь повесть Пушкина «Выстрел». Может быть, вы сможете позднее все вспомнить, если захотите вспоминать.

Его жена с заплаканными глазами проводила меня до дверей. Я поблагодарил ее за то, что она впустила меня в дом.

В то же самое время во Франкфурте на Аушвитцевском\* процессе свидетели боролись за доверие суда к своей памяти. Обвинения и призывы к возмездию со стороны жертв и «неспособность» преступников вспомнить запутывались в сетях правосудия, постепенно уступающего несправедливости\*\*.

Мы снова поехали к дому священника.

Я был очень взволнован. Я хоть и смог спустя двад-

---

\* Аушвитц – немецкое название лагеря Освенцим.

\*\* В 1963 году во Франкфурте-на-Майне (в то время – ФРГ) начался так называемый «Аушвитцевский процесс». Он был осложнен отсутствием каких бы то ни было правовых механизмов, позволяющих объективно судить о массовых убийствах двадцатилетней давности. Множество подозреваемых, несмотря на то, что они были опознаны свидетелями, было отпущено за недостатком объективных доказательств их непосредственного участия в массовых убийствах. В связи с этим в Германии и других странах вспыхнули общественные дискуссии о том, уместно ли говорить об «объективности» и требовать привычных объективных доказательств, когда дело касается массовых убийств - в неведомых до сих пор масштабах.

Многие бывшие узники Аушвитца не дожили до этого процесса. Многие были настолько травмированы, что не смогли после своего освобождения вернуться в Германию и жили за границей. В 1963 году они решились снова приехать в Германию, чтобы выступить с показаниями на суде. И все же оказалось, что во многих случаях их показаний для предъявления обвинения недостаточно, суд считал, что свидетели во многом друг другу противоречат.

цать два года удовлетворить потребность в нашей встрече – в обратной ситуации, но оказавшийся оппортунистом политрук не давал мне покоя.

Пастор позволил отбушевать моей ярости, а потом спокойно сказал:

– Но он же вас выслушал. Он подверг себя вашему обвинению, он не уклонился от него, хотя у него была для того уважительная причина. Может, я смогу помочь ему.

– Чем же?

– Его место прямо под моей кафедрой.

Я никогда не затрону напрямую вашу и его историю, но буду так толковать тексты проповедей, что он будет знать, что я знаю. Я стану смотреть на него, как если бы моя проповедь была адресована только ему. Может быть, он придет когда-нибудь и захочет говорить.

Пастор указал мне дорогу, о которой я раньше не подумывал.

Его слова заставили меня задуматься: «Вы попросили впустить вас как товарища по лагерю, вы скрыли в дверях, что пришли как обвинитель...», «Он не способен был вспомнить, потому что свою вину, о которой вы помните, давно похоронил, засыпал...», «Вы подвергли тяжело больного человека испытанию, которое и от здорового потребовало бы большого напряжения душевных сил и воли к установлению истины...», «Его жена не указала вам на дверь. Они оба предоставили вам возможность попроситься первым...»

В задумчивости я возвращался в Берлин.

Ни разу более в моей жизни не было подобного душеспасительного разговора, но он продолжился в нескольких письмах. Пастор заставил меня взглянуть на все под новым углом зрения. Он противопоставил нежелание и неспособность, приспособленчество в прошлом и настоящем.

Я увидел слабого, больного человека, оказавшегося униженным по воле изменившихся обстоятельств.

Постепенно пастор вытаскивал меня из спирали собственных заблуждений – виток за витком.

Перед Новым, 1971 годом я смог в письме поблагодарить члена совета церковной общины за то, что он сумел – выслушать и не оспаривать, подвергнуть себя воспоминаниям другого, не спрятаться за свою болезнь.

Быть может, это был первый шаг к возрождению его собственных воспоминаний?

В начале 1971 года пришла открытка: «Ваше посещение запомнится мне. Первой же книгой в новом году будет Пушкин из библиотеки. Я хочу прочесть «Выстрел».

В молчаливом согласии хранит с тех пор память случившееся.

Через два года после нашей встречи член совета церковной общины умер.

Пастор последовал за ним двадцать четыре года спустя.

Остались мир в душе и благодарная память – о разговоре в комнате пастора.

## «Вереница огней» - истории одного плена

1.

### Moshna

К ТОМУ ДНЮ мы шли уже почти две недели.

Остаткам Восьмой Егерской дивизии, стоявшей в районе Дойч-Брод, так и не удалось пробиться к американцам, в Пильзен.

Через несколько дней после капитуляции 8 мая русские солдаты стали собирать на больших площадках, чаще всего просто на лужайках, немецких военнопленных. Движущаяся к польской границе колонна становилась после каждого места сбора еще больше.

Семь недель передвигался людской поток под конвоем по Чехословакии и Польше. О конечной цели, об Аушвице, месте распределения по русским лагерям, еще не знал никто.

Слово «Аушвиц» я впервые услышал пять месяцев назад. Товарищ по комнате в офицерской школе Швайдницеровского гарнизона на вопрос о причине его тоски прервал наконец свое гнетущее молчание: его отец, в высоком чине СС, заведовал хозяйством лагеря. Сын знал и о селекции, и о газовых камерах.

Мне это знание оказало двойную помощь. Оно уберегло меня от ненависти, когда стоящие на обочине оплевывали, били или обирали нас. И оно увеличивало почтение к каждому, даже самому крохотному человеческому жесту, будь то сострадающий взгляд, сунутое яблоко или корка хлеба.

От случая к случаю хозяева давали поесть или попить, когда удавалось проскочить мимо конвоя в чей-нибудь дом. При этом росла надежда, что человечность неистребима и что ее свет не погаснет. Она проявлялась во взгляде, иногда в нескольких словах, реже в осенении крестом – безмолвно или упоминая имя Божье, – однажды в цветке, протянутом ребенком.

И так как надежда снова и снова оказывалась не напрасной, это обостряло мое внимание, и я был более восприимчив к возможным душевным порывам.

Эта моя способность не была ни проявлением моей чувствительности, ни результатом расчета в стратегии выживания. Она была милосердным подарком, якорем спасения, которому время от времени удавалось зацепиться, притом что ненависть к нам становилась тем сокрушительнее, чем глубже мы уходили в те страны, перед которыми – как немцы – были теперь так страшно виновны.

Раз в три дня на каждые двенадцать военнопленных выдавалась буханка хлеба. У деревенских колодцев конвоиры, держа наготове автоматы Калашникова, должны были защищать нас от населения, пытающегося выбить воду из сложенных ладоней, из кастрюль, из походных фляг.

Ночевали под открытым небом.

Иногда в местах ночного отдыха оказывались кирпичное укрытие, развалины сарая, черепичная кровля, иногда удавалось сложить маленький костер из остатков разрушенных хозяйственных построек – но не для всех 3000 человек.

Мои горные ботинки с металлическими рассечками на каблуках для лыжных креплений были желанным сокровищем для всех грабителей. Пытаясь их сохранить,

я, страдающий от кровавого поноса, просил ходящих по большой нужде товарищей оправляться на задники и шнурки моих ботинок, чтобы вонь и отвращение предотвращали грабеж.

Рассерженные грабители неоднократно били меня за свинство. Кто лишался своей обуви, шел дальше в носках, в портянках или босым, сколько мог.

Кто падал и не мог встать или постепенно отставал, тащась за замыкающим конвоем, был обречен на гибель – его забивали.

Как коршуны следовали за колонной гражданские, обычно молодежь, с палками, кольями, охотничьими ружьями, и поджидали тех, кто больше не мог шагать. Конвой таких не трогал – не расстреливал и не принуждал идти дальше.

Нас охраняли, но не считали.

Крики отставших делали очевидной границу, за которой заканчивалось выживание, этой границей были такие же юноши и молодые мужчины, между шестнадцатью и двадцатью, как и самые младшие в нашей колонне – сыновья, братья с обеих сторон.

Мне как раз исполнилось девятнадцать лет.

Во вторую неделю нашего похода покрылось коркой стоматитное воспаление моих губ. От воды из луж и остатков съестного с обочины, обогащавших ежедневный рацион, рот и язык покрылись язвами и пузырями.

Есть я больше не мог ничего.

Незнание продолжительности предстоящего пути и его цели, а также покидающие силы постепенно подрывали уверенность в том, что удастся продержаться до конца.

Наша колонна в очередной раз остановилась, должны были раздавать хлеб.

Я шел в замыкающей трети этапа, но в первых ее рядах.

Впереди показалась открытая повозка, запряженная парой лошадей, на козлах сидел русский солдат, на задней лавке – русский сержант со своим «калашниковым» и молодая женщина в летнем платье.

Рядом со своей спутницей он казался как-то совсем просто, невинно счастливым.

Он разговаривал с некоторыми конвоирами, давал указания по выдаче хлеба. Он был комендантом этих 3000 военнопленных и отвечал за их передвижение.

Я подошел к повозке, показал на свои ботинки в кале, на живот, объяснил жестами и обрывками немецких и русских слов, что у меня воспален рот, и спросил, не мог бы я ехать в повозке вместе с ними.

Он сверкнул глазами, какое-то мгновение он изучал меня с ног до головы. Потом он сказал, приглашая рукой: «Moshna». Я влез в повозку.

После раздачи хлеба, которая меня не коснулась, повозка снова двинулась в колонне шагающих военнопленных. Я сидел на скамье, спиной к извозчику, лицом к сержанту. Я не произнес слов благодарности, но он прочел их в моих глазах.

На следующем привале он взял меня с собой в крестьянский дом и попросил хозяйку, которая ставила ему еду и водку, дать мне молочной пшенной каши. Пока готовилась каша, я ждал, вытянувшись во всю длину на дощатом полу комнаты.

Уже в тот же день мы достигли Мэриш-Острау. Сержант передал меня в госпиталь для военнопленных, чтобы вылечить дизентерию и стоматит.

Когда неделю спустя я шел по направлению к Аушвицу в другой колонне нескольких тысяч военнопленных,

мой рот был вылечен с помощью чая и марганцовки, но желудку и кишечнику это единственное имеющееся лекарство существенно помочь не смогло.

Но во мне было теперь столько надежды и столько доверия к возможностям ближнего, что я мог смело шагать навстречу следующим огонькам, разбросанным по сорока двум месяцам плена, в тяжелейших условиях земляных работ на прокладке русского газопровода Саратов-Москва, сквозь болота и промерзшую землю, сквозь песок и клейкий, размягченный дождем суглинок.

Ни разу в эти годы не исчезал один огонек, прежде чем впереди показывался следующий.

Один горел всегда, как сбывшаяся надежда.

Ни разу не становилось совсем темно.

Я стремился к запрещенным контактам с русскими, бедными, никогда не жалующимися, сквозь столько страданий прошедшими жителями деревень.

Я жил этими встречами. Я выжил с их помощью.

Штрафная бригада, штрафной лагерь и многократные – более тридцати – переводы из лагеря в лагерь следовали один за одним как административные наказания за то, что я вновь и вновь нарушал требование не вступать в контакты с гражданским населением.

Но для поддержания во мне надежды контакты эти были жизненно важны. Они давали мне душевные силы, помогали выносить все тяготы и наказания – в моем случае облегченные отсутствием пыток и тем, что я был избавлен от ужаса видеть ежедневно трубы, из которых дымом поднимаются в небо останки сожженных людей.

Надежды заключенных в концлагерях гибли.

Некоторые надежды военнопленных сбывались.

Моя надежда все еще жила.

Я не потерял веру, так как ее постоянно защищал какой-нибудь «извечный брат».

Кто тот человек, который в третью майскую неделю 1945 года вошел в мою жизнь со своим «moshna» и в длинной веренице до сих пор горящих огней зажег первый из них? Кто он, ожививший во мне надежду, которую поддержали потом встречи с людьми, что помогли мне выжить?

Кто поможет найти его?

Если бы я его нашел, замкнулся бы круг.

Мое место в его повозке и его место в моей жизни принадлежат друг другу.

Если не суждено сыскать мне его следы, пусть память о нем сохранится в этом рассказе.

2.

## Страхи

В ТОТ ДЕНЬ, спустя шесть недель, пешая колонна военнопленных достигла боковых ворот лагеря Аушвиц.

Трехтысячную колонну пропускали в лагерь по несколько сотен человек. После длительного ожидания военнопленные входили в лагерь, шли мимо наблюдательных вышек, с которых русские охранники могли видеть дома, бараки, лагерные улицы и «полосу смерти» вдоль высоких ограждений из колючей проволоки, по которой шел электрический ток.

Рядом со мной стоял фельдфебель, занятый тем, что зашивал свою свадебную фотографию под надпоротую подкладку грязной униформы. На фотографии размером с почтовую открытку он стоял в парадной форме, приобняв одной рукой совсем юную невесту.

Я помог ему с зашиванием.

Потом мы вместе запрятали под подкладку моей куртки мой раскладывающийся карманный альбомчик с фотографиями родителей и сестер – все коричневого оттенка, всю жизнь любимого моей мамой, полуматовые, формата 6 на 9 см, с волнистым краем, – и спрятанными между ними лезвием для бритвы, иглой и несколькими нитками.

Подаренный на конфирмацию четырехцветный серебряный карандаш восьмисотой пробы со все еще про-

смазываются сквозь щель выдвигающего механизма цветными грифелями превратился в утолщение на дне накладного кармана форменной куртки.

Время ожидания сдружило нас.

Когда наконец и для нас открылись ворота, мы уже все знали друг о друге – о наших семьях, судьбах, страхах и надеждах.

У Фриделя была высокая температура, я был, как мне казалось, без температуры, но мучился кровавым поносом.

В лагере последовал первый отбор, его проводили русские офицер и врач – без крика, без побоев.

Делили на две группы: мужчин во все еще относительно хорошем состоянии – в одну сторону, а тех, кто едва держался на ногах, температурил, был с больным желудком или кишечником, – в другую.

Фридель и я попали в больничный блок – нештукатуренное двухэтажное кирпичное строение на краю одной из лагерных улиц. Примерно в трехстах метрах, за двойной, исключаящей всякий контакт колючей проволокой жили бывшие узники концлагеря, освобожденные «мусульмане»\*, которые под присмотром русских врачей готовились вернуться к самостоятельной жизни вне лагеря.

На момент нашего поступления лагерь Аушвиц служил не только для сбора немецких военнопленных – из Чехословакии, Польши, Австрии и Венгрии, но и для пребывания освобожденных заключенных, которые были еще слишком слабы и не могли покинуть то место, где длительное время люди подвергались уничтожению.

---

\* Лагерное прозвище особо истощенных.

Две группы – еще недавно воспеваемые немецкой идеологией представители «господствующей расы», теперь же пленные, грязные, больные, завшивленные, охваченные страхом смерти, с одной стороны, и оставшиеся в живых, долгие годы подвергавшиеся истреблению «паразиты», остро нуждающиеся теперь в возможности заново обрести человеческое достоинство, с другой, – были строго разделены, но размещены друг у друга на виду – в лагере, где все еще стояли остановленные газовые камеры и печи.

Нас положили в больничном зале на втором этаже – в большом помещении, где на двухэтажных деревянных нарах с сениками лежали 162 тяжелобольных. За нами ухаживали две медсестры и врач. Каждые три дня он осматривал всех пленных, которых вызывали к нему по очереди.

Тот же врач, но с двумя другими медсестрами, обслуживал и нижний зал такого же размера, где лежали легкие больные.

В обоих помещениях рядом с дверью на столе стояли стакан и миска с хлорированной водой – для дезинфекции термометров и рук врача. Рядом лежали стопкой карточки больных с выведенными кириллицей фамилиями пленных. Номеров не было.

Туалеты находились в коридоре, бумагу нужно было «организовывать» самим.

В качестве лекарств в распоряжении врачей имелись только порошок из древесного угля и марганцовокислый калий, фиолетовые гранулы которого, растворенные в чае или воде, скорее пригодились бы при лечении простуженного горла, чем больного кишечника. Но своего рода строгая диета – положенные ежедневно четыре ломтя подсушенного хлеба, дважды в день русский

чай и в обед суп с маленькой порцией пшенной крупы – оказывала (хотя бы на заболевания средней тяжести) почти лекарственное действие.

Окна в больничном зале не открывались.

Но зато у каждого было собственное место, которое было сухо и тепло. Благодаря регулярным выдачам хлеба, чая, супа и врачебным осмотрам, снова стали осязаемы суточные ритмы.

И все же неопределенность и страх угнетали. Тяжелобольные надеялись попасть домой. Выздоровление же означало отправку в русский лагерь на работы.

И днем и ночью покой нарушали пробирающиеся в туалет, стоны и проклятья из-за нечистот и вони.

В течение дня поднимали и выносили умерших, их нары и сенник спрыскивались хлорной жижей, сенник уносили на дополнительную дезинфекцию, а на вымытое дерево укладывали новый – и освободившееся место занимал следующий больной. Добровольцы, выносившие умерших, выполнявшие дезинфекцию и получавшие за это дополнительно хлеб и суп, разносили и еду больным. Крепкие, весь день проводившие на ногах мужчины, они отдыхали ночью, потому что смерть в темном зале оставалась незамеченной до самого утра.

Утром третьего дня я увидел на верхних нарах больного, лежащего на животе и не спускающего глаз с нижних нар. Замерев, как кошка перед мышинной норой, готовый прыгнуть в любой момент в проход, он лежал, подложив под себя пустой бумажный мешок из-под цемента и опустив голову на руки.

Я проследил за его взглядом и увидел истощенного мужчину, который на своем грязном тюфяке боролся за последние глотки воздуха. В щелях между сенником и нарами лежал сухой хлеб, который он не ел вот уже

несколько дней. Вставать в туалет, будучи на последней стадии болезни, он не мог.

Кто-то крикнул: «Он умер!»

Пришла сестра. Санитары на носилках вынесли мертвого.

В ту же секунду пленный с верхних нар, ослабленный, но накопивший в себе энергию, как сжатая пружина, спрыгнул в проход, собрал в бумажный мешок хлеб из щелей, обтирая его о еще не унесенный сенник, и покинул зал.

Я ринулся за ним и нагнал его в проходе нижнего зала в тот момент, когда он прокричал: «Сухой хлеб на табак!»

Прежде чем кто-нибудь из больных успел отреагировать, на весь зал прогремело мое предостережение. Не произнеся больше ни слова, пленный с хлебом в мешке понуро поплелся назад.

Не помню, куда девался потом тот хлеб.

Я нашел лестницу, ведущую в подвал.

Сквозь проем в стене без всякой двери я заглянул в помещение, заполненное ношенной и выцветшей от влажности обувью всех размеров и видов: детские ботинки, рабочие ботинки, сандалии, дамские туфли на высоких каблуках, сапоги, тапки... – рассортированные для дальнейшего применения. Это было последнее, что осталось от заключенных, обобранных перед тем, как они стали под газ.

Два эти переживания, как вспышка, озарили мое сознание: эта обувь, обувь людей, вырванных из своих таких разных жизней, обреченных на смерть без какой бы то ни было альтернативы, и принудительное лежание в больничном зале, где невозможны были никакие собственные решения, а был только постоянный противоре-

чивый страх: страх перед выздоровлением и страх перед усугублением болезни.

Наверху в зале я рассказал об этих страхах лежащему с температурой Фриделю. Я желал сам принять решение, за которое нес бы ответственность, хотел уйти из «мертвого дома», напоминавшего мне записки Достоевского, прочитанные мною (за два года до плена, когда я служил помощником артиллериста) только до половины, потому что мне сделалось плохо.

Постепенно страх Фриделя остаться лежать в больничном зале взял верх над страхом отправиться вместе со мной.

Мы хотели оставаться вместе и пришли к единому решению.

Я выпорол серебряный четырехцветный карандаш из-под подкладки и начистил его до блеска о ткань.

За столом сидела медсестра, светловолосая, с открытым широким лицом.

Я показал ей карандаш, выкрутил разные цвета, она улыбнулась.

В ответ на ее «mozhna?» я вложил серебряную палочку ей в руку, она тут же испробовала на листке бумаги все четыре цвета.

Она спросила меня, что я хочу получить за карандаш.

Я написал на ее листке свое имя кириллицей, показал на карточки больных, расправил грудь, как грузчик, в одиночку поднимающий пианино, и объяснил, дополняя жестами смесь из немецких и русских слов, что она должна меня выписать как пригодного к работам.

Когда моя карточка была извлечена из стопки и подписана, я попросил о таком же свидетельстве для моего «кузена». Она подписала и ему и спросила:

– Harascho?

Я изобразил руками комок и ответил на это:

– Maslo? Камерад должен хорошо работать.

– Момент.

Мы остались ждать.

Она вернулась с завернутым в газетную бумагу куском маргарина и половинкой буханки хлеба.

Серебряный карандаш она вставила в нагрудный карман халата, прикрепив его за колпачок, кончик которого виднелся и поблескивал.

Мы уложили хлеб и маргарин в свои мешки.

Наши карточки были извлечены из большой стопки и лежали отдельно.

На следующий день нас и остальных пригодных к работам погрузили в вагоны для отправки в Россию.

Перед тем как покинуть больничный зал, я оставил адрес моих родителей одному товарищу из родного города.

Спустя два месяца он навестил их.

Я вернулся домой через три с половиной года.

3.

## Причащение

В ТОТ ДЕНЬ раздали необычный ужин из трех блюд: суп, в котором плавало несколько фасолин, кусочек мясного рулета из измельченной тrefухи, к нему – толченая кислая капуста и картошка. На десерт – сладкая пшеничная каша с муссом из красных ягод. Еще и чай с сахаром.

Рабочим бригадам не нужно было в тот день покидать лагерные бараки, стоявшие рядом с пустой, не действующей больше церковью.

Погрузившись в мечты при свете нескольких свечей, пленные видели себя дома, в кругу семьи – за празднованием Рождества.

В тот вечер, 24 декабря 1945 года, я вышел в леденящую ночь.

Я думал о людях, которые у меня дома вместе прочли вслух рождественскую историю и спели старые песни, в то время как здесь, в лагере, наша робкая попытка спеть «Тихую ночь»\* потонула в уборке посуды.

Я думал о церквях, чьи колокола молчали.

На колокольне разрушенной церкви с луковичным куполом колоколов не было.

Под этой церковью мы уложили в землю несколько недель назад нашего первого мертвого. Страдая хрони-

---

\* Старинная немецкая рождественская песня, являющаяся обязательной частью празднования Рождества.

ческим поносом, этот пленный умер от недоедания и истощения. Могилу ему в промерзшей земле в течение нескольких дней выбивала рабочая бригада, вооруженная ломami и кирками, по возвращении с земляных работ в газопроводных траншеях.

В одно из нерабочих воскресений на деревянных носилках его отнесли к могиле в сопровождении нескольких товарищей, которые кирками и лопатами должны были снова засыпать выбитую яму.

Его осторожно подняли и положили в неглубокую могилу, без гроба, без креста. Обернутая вокруг покойного солдатская шинель была застегнута да самого верха и закрывала его лицо, на голове была обычная солдатская шапка оливкового цвета.

И шинель, и шапку еще раз заботливо поправили, прежде чем на замерзшее тело была брошена с окружающей могилу кучки земли первая горсть.

Земля приняла в себя могильную яму. Только отсутствие снега выдавало нанесенную ей свежую рану. Зимняя ночь к утру снова покрыла ее белым.

Имени мертвого я не знал.

Может быть, о нем помнят несколько товарищей, может быть, о нем вспомнят теперь и другие, после того как десятилетиями остававшиеся закрытыми архивы открыли доступ к именам.

Тогда тот незнакомый мертвец напомнил нам о многих и многих других, лежащих без могилы, безымянных, покрываемых временем и растительностью, вернувшихся в землю, как ставшая перегноем листва.

Молча стояли мы, скрестив руки, перед засыпанной могилкой. Сделанное было лишь физической работой, занятием для исхудавших тел. Теперь во внезапно наступившую тишину ворвались мысли.

Опустошенная церковь на холме над кладбищем давно уже стала лагерным складом. Ее колокола наверняка уже были использованы в качестве сырья в каком-нибудь производстве. И все-таки наверху, в пустой колокольне, мерещилось, что раздастся звон колокола по покойному.

«Отче наш» пронеслось у нас в голове и застряло где-то между сознанием и глоткой.

Ни звука не вырвалось из плотно сомкнутых губ.

На фоне зимнего неба отчетливо был виден крест на церковном куполе, уцелевший и отовсюду видимый, слишком далекий от земли для человеческого вмешательства.

Когда я вышел в морозную ночь сочельника, церковь была освещена луной и звездами. Я, как всегда, очень хотел есть. С фантазией составленная немецким лагерным поваром праздничная трапеза – из сэкономленных продуктов с наших и без того скудных складских запасов – была, как всякое заботливое старание, подарком, но насытить не могла.

На русской лагерной кухне керосиновая лампа освещала позднюю занятость повара, готовившего ужин для русских. За окном рубленого дома испускал пар котел, горел огонь, в котле лежала поварская ложка, шел дым из трубы.

Дом, очаг, свет, тепло, пища, люди – символы защищенности и уюта.

Я вошел в кухню, спросил, нет ли какой-нибудь работы за еду, сказал, что у нас сегодня Рождество, которое русские будут отмечать только в начале нового года.

Русский повар вручил мне два ведра с короткими цепями. Он послал меня по обледенелому спуску вниз к ручью, к проруби, которую постоянно приходилось

пробивать для лагерных кухонь заново. Ничем не огороженная прорубь была чуть шире ведра.

С помощью цепи ведра спускали вдоль толстых краев льда в воду.

Дорога наверх по ледяному откосу давалась с трудом. Стоило чуть поскользнуться, и вода расплескивалась, стекала по ногам, попадая иногда в valenki. Намокшие портянки превращались в лед, и ты уже не чувствовал больше ног.

Но и поскользываясь, падая на склоне, я все-таки приносил два почти до половины наполненных ведра и выливал в деревянную бочку, а потом грел у костра руки, ноги, оттаивал замерзшую обувь.

И получал суп и хлеб в неограниченном количестве.

Примерно в двадцати метрах от проруби стояла полуразрушенная изба, ее прохудившуюся в нескольких местах крышу прикрывала солома. Небольшая труба давно уже выдохнула в небо последнюю струйку дыма. Было около полуночи, но за покосившимся окном горел слабый огонек.

Кто-то продолжал бодрствовать.

Когда цепи в очередной раз загромыхали о ледяные стенки проруби, из избышки вышел старик, он нес, обхватив руками, миску с маленькими вареными картофелинами.

Лунный свет освещал его морщинистое лицо, покрытые щетиной впалые щеки. Он пробрался ко мне по снегу и посмотрел на меня.

– Товарищ, я знаю, сегодня в Германии большой праздник. Родился Иисус Христос. Вот, пожалуйста, возьми.

Он вложил мне в руки миску с картошкой и перекрестил. Я ел, и морозный воздух смешивал мое дыхание с картофельным паром.

Зимой, когда открывали бурты, из земли выковыривали мороженую картошку, она была сладким, но и опасным для желудка кушаньем бедняков.

Он забрал у меня пустую миску. Чуток постоял, смотря на меня. Потом пошел назад в дом.

Свет в окне погас.

Я не обнял его, как мы это делаем дома после хлебопреломления, и не поблагодарил. Он ушел с пустой посудиной, как священник, совершивший обряд причащения, – молча, ни разу не обернувшись.

4.

## Листья каучукового дерева

В ТОТ ДЕНЬ мы сидели вечером вокруг деревянного стола и били вшей.

Одноэтажный сруб давал приют примерно тридцати немецким военнопленным и русскому охраннику, отводившему нас каждое утро рыть в болотистой почве траншею под газопровод. После десяти часов землекопных работ мы возвращались в барак, съедали пайки хлеба, выпивали горячий чай и приступали – маленькими группками вокруг стола – к дезинсекции.

Зажатые между двумя поленьями, на столе горели несколько лучин, которые все время приходилось обновлять.

Мужчины медленно проводили сквозь пламя вывернутые швы своих рубашек и кальсон. Как жемчужные ожерелья, лежали они друг за другом в швах: серые и жирные взрослые вши чередовались с маленькими белыми гнидами, первые, просвечивающие красным, стремительно испарялись в огне со своим до отказа заполненным кровью туловищем, белые бляшечки следующего поколения, попав в огонь, потрескивая, лопались.

Жемчужные ожерелья двигались сквозь пламя, как маленькие пулеметные ленты. Отстрелявшийся уползал на нары на свой тюфяк из листьев и надеялся на милосердный «компромисс» между искусанной кожей и бельем, очищенным пламенем, – всегда только на одну ночь.

В соседней комнате за приоткрытой дверью мирно сидел пожилой охранник. Пропитанную маслом хлопчатобумажную ткань он протягивал сквозь ствол винтовки, которой не шел на пользу влажный болотный воздух.

Свою дезинсекцию я только что окончил. Сожжены были паразиты и в пестром тряпье, служившем перевязкой на правом запястье. Если насекомые подползали к сочащимся открытым тканям, гноящаяся рана начинала сильно зудеть.

Рану величиной с большой палец я постоянно промывал собственной мочой и прикрывал раздобытым куском мягкой бумаги. Не было ни марли, ни лечебной мази, ни бинтов. Тряпки, нитки или проволоки, которые удавалось раздобыть в русских деревнях, удерживали скудную повязку, чтобы она не сползала во время траншейных работ.

Я перевернул бумагу. Пропитавшаяся гноем, расползшаяся, она не могла больше служить хоть какой-нибудь защитой.

Я встал и направился к выходу.

– Хочу обновить повязку.

– Принеси что-нибудь поесть, – крикнули мне вслед.

Все знали, что пожилые русские женщины, *babuschki*, когда я спрашивал о еде, всегда совали мне что-нибудь: суп, несколько вареных картофелин или горячий чай. Корки хлеба, тыква, свекла, луковицы, чеснок исчезали в глубоких карманах моих военных бриджей.

Возможно, мой возраст напоминал им об их собственных сыновьях: «Боже мой – такой молоденький, двадцать лет!»

Они делились тем, что ели сами. Часто этого хватало и для посылавших меня товарищей, выкапывавших

за меня положенные мне метры траншеи: 3,20 м в глубину и 80 см в ширину.

Не везде доступная для просмотра часовых, траншея помогала незаметно сбегать в деревню и вернуться.

В тот вечер я пошел напрямиком на столбы дыма и огни деревни, лежавшей в четырех километрах на равнине, – между гигантскими полями подсолнухов. Днем над ними парили жаворонки.

Ночь была ясной. Полную луну окружал сияющий ореол.

Я миновал траншею и тот ее особый участок, который был закреплен за нашей маленькой группой: расположенное в непосредственной близости болото сквозь образовавшийся проток затопляло ров водой. В конце концов место прорыва было заделано мешками с песком. Теперь нужно было удалить воду. Сперва маленьким бензиновым насосом, который уже через несколько дней сломался. Потом доставленными ведрами, старыми матерчатыми просмоленными чанами, найденными на каком-то старом пожарном участке.

Охранник следил по своим наручным часам за сменявшимися каждые тридцать минут парами: один из двоих стоял внизу в воде, раздевшись до набедренной повязки, и наполнял ведро, второй, на краю рва, вытаскивал его наверх и опорожнял за кучами вырытой земли.

Вплоть до этого болотистого участка в траншею тракторами уже были уложены сваренные трубы, вырытая земля засыпана и уравнена. Газопровод шел из Саратова в Москву. Через каждые 100 км встраивалась одна из восьми больших компрессорных станций.

От нашего участка до Москвы было 750 км.

Поздним вечером я достиг деревни.

Еще до того как я стоял в дверях первого деревянного дома, меня успела облаять собака.

Молодая женщина ставила в огонь печи горшок. Рядом сидел пожилой мужчина, накладывавший из корзины поленья в огонь и вытянувший перед собой обрубок ноги на деревянном костыле.

Когда я попросил поесть, из комнаты донеслась его ругань:

– Вон, фашист, вон отсюда!

За спиной в закрытую дверь стукнулось полено.

В соседнем доме открыла старая женщина – сгорбленная, изуродованная подагрой фигура с пронизывающим взглядом и маленьким, птичьим лицом. Она ласково ответила на мое приветствие.

На ней было все черное: платок на голове, накидка с бахромой на плечах, юбка, чулки, туфли. И огоньки ее глаз мерцали, как из черной топи.

Мягко подталкивая рукой, она провела меня к столу и усадила под керосиновой лампой на стул. Архетипические образы пронеслись в моей голове: волшебница, ведьма, знахарка, вещунья...

Показывая на мою забинтованную руку, она спросила:

– Что там у тебя?

Я размотал тряпки, разложив их у себя на коленях. Рана открылась, лицо женщины становилось все серьезнее, голос оставался ласковым.

– Как это произошло? – спросила она.

Я рассказал ей, как был поранен во время землякопных работ: один из товарищей задел меня зазубренной лопатой при перебрасывании земли с промежуточной платформы наверх.

– Давно ли? – поинтересовалась она.

Я поведал ей важнейшие периоды длившейся уже две-

надцать месяцев истории болезни: как зимой рану прихватил мороз, как один немецкий санитар вырезал закругленными ножницами для ногтей дикое мясо над и вокруг сухожилий и прикрыл после этого рану компрессом с водкой. Не хватало только все время чистого полотна для перевязок. Дезинфицировать рану я мог только собственной мочой.

Она одобрительно кивнула, бросила старую повязку в печь и сказала:

– Komm!\*

Рядом с печкой была дверь в комнату. На комод, покрытом белой, вязанной крючком скатертью, стояли семейные фотографии: молодые и старые мужчины и женщины, некоторые в форме. Над ними рядом с портретом молодого солдата висела красная эмалированная табличка с белой надписью:

«ACHTUNG NOTBREMSE – ZIEHEN NUR BEI GEFAHR – JEDER MISSBRAUCH WIRD BESTRAFT»\*\*

– Почему здесь висит эта табличка из немецкого поезда? – спросил я.

Она объяснила несколькими немецкими словами: «подарок внука... из отпуска... чудесно красная краска блестит... но здесь написано?».

На ломаном русском я объяснил ей, что это об аварийном тормозе.

Усмехнувшись, она взяла меня за руку и потянула к каучуковому дереву\*\*\* с большими блестящими листьями, стоявшему на полу рядом с комодом.

---

\* Пойдем (нем.)

\*\* «Внимание аварийный тормоз - тянуть только в случае опасности - за каждое злоупотребление штраф» (нем.).

\*\*\*Автор имеет в виду фикус.

Она выбрала и сорвала один лист и положила его внутренней стороной на рану, покрыв ее всю целиком. Пальцами одной руки она продолжала придерживать лист на моем запястье, другой рукой сорвала еще два листа с дерева, за которым со стены смотрела очень пестрая икона Божьей Матери.

Когда я снова сидел за столом, положив на него руку, она принесла шерстяные нитки, свежие тряпки и чистые льняные полотняные полоски, вырезанные ею из рубашки. Она наложила на лист сухой льняной компресс, закрепила все чистым лоскутом и слегка затянула сверху несколькими шерстяными нитками.

Оставшиеся полоски полотна она окунула в мисочку с водой, переложила ими два других листа, завернула все это в новую чистую тряпку и привязала к моей руке, объясняя при этом по-немецки: листья на смену... сухое не лечит... и материал, чтобы снова делать. Все будет хорошо.

Я чувствовал себя чудесно.

Она поставила передо мной горячий мясной бульон, дала к нему краюшку хлеба.

Пару дней назад ей пришлось забить корову. Не хочу ли я забрать печень?

Она вернулась с деревянной доской, на которой неслась большой скользкий ком. Острым ножом она сделала в печени прорез, вытащила из-за печи дубинку, просунула ее сквозь печень и положила ставшую удобной ношу мне на плечо.

– Все будет хорошо, – крикнула она мне вдогонку.

Больше я никогда ее не видел.

Подобного кулинарного блаженства, как печень, за все три с половиной года плена больше не выдавалось.

Спустя десять дней нас перевели на новый участок. Рана после бережной смены листьев начала постепенно затягиваться.

Остался круглый шрам, как родимое пятно. Все оказалось хорошо. Старая женщина предсказала верно.

На моем запястье появилась особая примета. Других особых примет у меня нет.

5.

## «Спать, спать, а то – капут!»

В ТОТ ДЕНЬ, нерабочее воскресенье, мы стояли после обеда перед комиссией – нагишом, выстроившись в три ряда.

На комиссию нас вызвали по списку, составленному при последнем взвешивании, – примерно каждые шесть недель проводилась дезинсекция людей и одежды, во время которой всех пленных взвешивали.

Пятнадцать человек, чей вес не превышал ста фунтов\*, – русские называли таких дистрофиками, – были признаны непригодными к работам. Комиссия должна была решить, перевести ли непригодных с землекопных работ, с фабрик по переработке сахарной свеклы и подсолнечника, а также с других участков на внутреннюю лагерную службу или отправить в колхозные группы, которые вместе с русскими женщинами были заняты по восемь часов в день на кооперативных полевых работах. Час ходьбы – до колхоза и обратно – в сопровождении старого крестьянина верхом на лошаке и вооруженного ружьем – рабочим временем не считался.

Колхозная работа на просторных огуречных, тыквенных и капустных полях означала работу с едой и в еде: нужно было собирать урожай, резать и засаливать овощи, давить босиком в больших деревянных кадках капусту.

---

\* Один фунт в системе немецких мер равен 500 граммам.

Колхозная работа означала, что можно наесться досыта густым супом, пшенной кашей с маслом, поджаренными на костре семечками подсолнухов, печеными овощами.

Работа эта давала возможность пользоваться «природной аптекой»: лук и помидоры служили средством для чистки зубов, которым угрожала цинга, дольки чеснока помогали видеть в темноте безлунной ночью и, значит, не упасть с трехметровой высоты, поскользнувшись на досках туалета, зимой оледеневающих, в выгребную яму и не бороться за свою жизнь в клоачной каше. Каждый пленный знал: колхоз дает шанс выжить.

Каждый из нас надеялся попасть туда.

Я весил девяносто шесть фунтов.

Члены комиссии сидели за столом к нам лицом: двое мужчин и две женщины.

Лагерный врач Глинский разглаживал лежащий перед ним список. Он был в чине капитана, равном немецкому штабному врачу, приземист, с коротко постриженными темными волосами, спокойными карими глазами на почти неподвижном лице и с теплым голосом.

Слева от него расположилась кладовщица в чине старшего лейтенанта, заведующая лагерным складом в земляном бункере под висячим замком, – складом для немцев и русских.

Бледная женщина с осунувшимся лицом, она разглядывала стоявших перед столом военнопленных и выслушивала решения лагерного врача со смесью уныния и любопытства.

Рядом с кладовщицей, у края стола, сидела медсестра (возможно, я запомнил верно, что ее звали Люба), она работала в больничном бараке помощницей Глинского. Ей было, как я узнал позже, столько же, сколько и мне, – двадцать лет.

Согласно ходившим среди пленных слухам, ее перевели на службу в лагерь в наказание за то, что она якобы «передвигалась с немецкими войсками». Возможно, ее увезли насильно. Возможно, ее, никому не нужную, подобрали из жалости или корыстных побуждений. Возможно, вспыхнула любовь – разрушившая границу между врагом и другом.

Ее крестьянское тело было втиснуто в узкую форменную блузку без знаков воинского различия. Казалось, что солдатская оболочка не дает ей дышать. Ее печальное лицо напоминало застывшие лица иконописных мадонн.

Эти русские люди, представители народа-победителя, были, как и взятые в плен, отправлены в лагерную глушь, обречены на одиночество, на жизнь вдали от семей, друзей и привычного уклада – как и мы.

Четвертым за столом был немецкий лагерный комендант Шмидт. Из всех членов комиссии его я знал лучше всех.

А он знал меня.

В лагерь Колигровка я попал семь месяцев назад, в марте 1946 года. Шмидт заведовал всем лагерем, но оставался в подчинении у русских офицеров, и в комиссии даже права совещательного голоса не имел.

Он сидел рядом с лагерным врачом у правого края стола. Его челюсти двигались. Под одутловатой, неровной кожей то и дело напрягались мышцы щек.

Его заплывшие глаза сновали по русским и немецким лицам, как у животного, которое с жадностью оценивает, достанется ли от добычи что-нибудь и ему, и сдерживает себя только из-за присутствия более сильных.

Лагерный врач встал.

Он назвал имена пленных, стоящих в первом ряду.

Он проверял телосложение, грудную клетку, иногда шею и бедра и разворачивал потом за плечи к себе спиной.

Все знали, что именно в этой позиции, после щипка за ягодицу, выносился приговор. Если мускулатура была более или менее упругой, не было ни малейшего шанса на колхоз. Только впавшие, слабые ягодицы избавляли – вынесенным за спиной приговором – от земляных работ: «Kuchnja!», или «Kolchos!», или «Lazaret!»

Врач подошел ко мне.

Я подтвердил свое имя.

Он внимательно оглядел меня сверху вниз.

Он не мог не заметить моего возбуждения

Он безмолвно посмотрел мне в глаза.

Кладовщица ухмыльнулась.

Немецкий комендант, выпучив глаза, уставился на заявившую о себе плоть.

Выражение лица Любы не изменилось.

Лагерный врач развернул меня и, схватив клещами своих пальцев за провисшую ягодицу, произнес: «Kolchos».

Напрягшаяся мышца передней стороны тела в облегчении расслабилась подобно задней части.

Я обратил на себя внимание – событие, в армии обычно ничего хорошего не предвещающее.

Здесь это оказалось иначе.

Только позднее я понял, что врач запомнил мою фамилию.

Час спустя немецкий комендант Шмидт снова единолично правил лагерем. Было велено строиться.

Одного из пленных, укравшего дневную порцию хлеба (670 г) у другого пленного, Шмидт наказал двенадцатью ударами ремнем.

Наказание, которое воспринималось как вполне справедливое, превращалось в постыдный ритуал: один из пленных садился верхом на плечи преступника, прижимая его к скамье, другой держал его ноги. За помощь в такой экзекуции полагалась одноразовая дополнительная порция хлеба, супа или пшенной каши.

Самозванный судья, сифилитик, чей мозг, по слухам, уже пострадал от болезни, Шмидт медленно и с удовольствием вытаскивал ремень из брюк. Почти что с нежностью он хлопал им по ладони – как палач, на глазах у публики проводящий разок пальцем по лезвию заточенного топора.

Считая вслух, он наносил удары по постепенно разрывающейся коже пленного, чье протестующее тело прижимали к скамье его товарищи.

Отвратительное представление было закончено, наказанный поднялся, застегнул штаны и заковылял прочь.

Поздним летом от лагерного правосудия Шмидта пострадал и я. Продолжавшийся уже длительное время понос усилился от постоянно прерываемого сна между 22 и 5 часами.

Открытое пламя газовой горелки не только освещало барак на шестьдесят человек, но и перегревало его летом. Когда нужда заставляла вставать и идти в отхожее место, потное тело обдувал холодный ночной воздух.

Идти надо было по лагерной улице, уставленной фонарными столбами. Часто на этот путь сил у меня не хватало. Нашлись свидетели того, что как-то я испражнялся рядом с баракком. Шмидт оплачивал такие доносы едой.

Однажды он подкараулил меня, дождался, пока кшечник мой опустошился, схватил меня, все еще сидящего на корточках, за воротник и несколько раз ткнул лицом в кал – приговаривая, что в лагере необходимо поддерживать чистоту и порядок.

Ночь я провел в штрафном бункере, в запирающейся низкой сырой земляной дыре – на гниющем сене, в котором мне было велено собрать испражнения, чтобы утром отнести их в выгребную яму.

Утром он выпустил меня. Я вымыл руки и снова отправился рыть траншею под газопровод.

Осенью, на следующий день после комиссии, непригодные пленные размеренно шагали по дороге в колхоз.

Работа в сельскохозяйственном кооперативе позволяла на весь день забыть, что такое голод.

Мы срезали огурцы и помидоры и укладывали их слоями в деревянные кадки, перемежая пластами соли. В плоские широкие ванны нарезали очищенные от верхних подгнивших листьев качаны капусты.

Янтарные круги подсолнечного масла светились на овощном супе и пшенной каше.

Желудки были довольны, кишечники бунтовали.

Ко всему этому природа добавляла в неограниченном количестве лук, чеснок и тыквы. В отсутствие медикаментов они и помогали, и вредили одновременно. Чувство меры уступило сладкой возможности наесться досыта.

Осенняя природа, мирная работа на поле, человеческое отношение к нам работающих с нами колхозниц укрепляли душу – чуть повыше полного желудка. Но хронический понос продолжал истощать и без того ослабленный организм.

К тому же я все снова и снова становился объектом подозрений Шмидта. Он читал мою немногочисленную разрешенную почту, сократил число открыток Красного Креста для общения с домом, проверял неожиданно мои карманы (нашел однажды нож для резки лука и в наказание не выдал хлеб), продолжал приманивать

дополнительной едой осведомителей и оставался со своими садистскими наклонностями совершенно непредсказуемым.

Один старший и прошедший Сталинград товарищ посоветовал ухудшить и без того подорванное здоровье настолько, чтобы можно было рассчитывать если не на отправку домой, то хотя бы на лазарет.

Он знал жизнь дольше и лучше меня – он предупреждал меня:

– Ты не переживешь этой зимы. Он тебя прикончит.

Последовать его совету означало совершить по русским законам тяжкое преступление – саботаж.

Я доверился до сих пор не подводившей меня сопротивляемости моего организма и начал усиленно терять здоровье. В углу умывальной комнаты я поедал большие огурцы в твердой кожуре и пил ледяную воду.

Один осведомитель продал меня.

Шмидт засадил меня в штрафную бригаду.

Мой просчет мог стоить мне жизни.

Штрафная бригада состояла из шестнадцати пленных разного физического состояния. Некоторых застали за преступлением, кто-то впал в немилость на работе. На ночь охранник запирали штрафников в маленьком бараке, обнесенном колючей проволокой, и выпускал в пять утра.

Сенников на нарах не было. «Подушкой» служила клиновидная доска. Свет и тепло давала «вечная лампа» – пламя газовой горелки, как в сварочном аппарате.

Для справления нужды стоял деревянный бочонок размером с ведро, его содержимое почти каждую ночь переливалось через край. Как самый младший я должен был относить эту не имевшую ручек бочку в отхожее место, опорожнять, возвращать в барак и спрыскивать ее влажное глинистое дно хлором – пока другие ходили умываться.

Потом мы строились на лагерной площади, где получали хлеб и чай.

В шесть утра, посчитанные, мы отправлялись на работу.

На стройке мне удавалось улучшить момент, чтобы умыться из какой-нибудь лужи или первым снегом.

Мы утрамбовывали грязь, подкладывали доски и камни под буксующие в снегу и глине колеса грузовиков, которые, чтобы сдвинуть с места, приходилось разгружать и потом грузить заново.

Нашей задачей было делать избородженное месиво пригодным для проезда – десять часов в день.

После вечернего супа до 23 часов мы выкапывали запасные ямы под туалеты, – 3 м в глубину, – сменяя друг друга в установленной нами очередности: после двадцати выбросов земли со дна или с промежуточной площадки.

Рано утром, когда мы отправлялись на работу, в будке часового у лагерных ворот стоял иногда русский офицер. Однажды туда встал Шмидт, опершись на суковатую прогулочную трость. В середине маленькой колонны он углядел избитого им накануне хлебного вора, шедшего с понурой головой и не в ногу с остальными. Рассвирепев от его невоенной выправки, Шмидт запустил ему в голову тростью. Потом, рыча и ругаясь русским матом, он потребовал вернуть ему палку.

Еще раз наказанный шел на работу с кровавой вмятиной на лбу и подбитым глазом.

Спустя примерно две недели на шагающую колонну пали первые хлопья снега. Часовой пересчитывал нас, загибая пальцы.

Вдруг в наш ряд просунулась чья-то рука, ухватилась за воротник моей куртки и вытянула меня из колонны.

Глинский разжал пальцы только в натопленной дежурке. Он смотрел на меня, как отец, беспокоящийся за сына.

– Крамер, du schlafen, schlafen, а то kaputt, и nie mehr Deutschland\*.

Он поднял с пола бумажный мешок из-под цемента, оторвал от него клочок и большими буквами написал на нем: «Sprawka».

Под этим словом он засвидетельствовал: справка выдана мне для предъявления по требованию и разрешает мне спать неограниченное время. Документ был заверен найденной на столе дежурного печатью.

Мы вернулись в лагерь.

Он приказал принести мой мешок, определил меня в другой барак – на свободный сенник в белом бязевом чехле – и вышел. Мое «otchen spasiba!» он, должно быть, еще расслышал.

Постепенно улеглось волнение от переполнявших меня благодарности и счастья. Сердце вернулось к своему размеренному ритму. Ворочаясь, я чувствовал спрятанный рядом с ним – во внутренний карман куртки – кусочек плотной цементной бумаги.

Потом навалился долгий и глубокий сон.

---

\* «Крамер, ты спать, спать, а то капут, и никогда больше Германии» (нем.).

6.

## Do swidanija

В ТОТ ДЕНЬ, в ноябре 1947 года, ласковый голос вернул меня из сумерек беспамятства к ясности сознания. Я почувствовал прикосновение слов «skora damoi», погладивших меня по щеке. Глинский склонился надо мной, упершись руками в сенник. Прямо надо мной были его глаза.

По дороге за обеденным супом я упал на лагерной площади и потерял сознание.

За несколько дней до этого лагерный врач предписал мне сон и полный покой, который приходилось нарушать, чтобы идти в нужник – сквозь мороз и снег, днем и ночью – суп из ботвы и липкий серый хлеб проползали желудок и кишечник, почти не перевариваясь.

От жаркого пламени газовой горелки и от лихорадки непрерывно бросало в пот, а на улице мокрую кожу сразу же прихватывал мороз. Было больно дышать.

Неглубокие короткие вдохи немного снимали колющую боль в легких.

Дыхание сопровождалось тихим постаныванием.

В сознание я пришел в больничном бараке.

Глинский, все еще склонившись надо мной, спросил на ломаном немецком:

– Крамер, что хотите кушать?

Стало еще светлее: так от притока свежего воздуха слабое мерцание фитиля превращается в спокойное и уверенное пламя.

Предложение заказать любимую еду было одновременно и признанием врача в том, что скорее всего мне предстоит последняя трапеза.

Но воля к жизни не угасла.

Сквозь окно я видел пробиравшегося по снегу венгерского солдата. Свободной рукой он залез в кастрюлю и отпробовал мою дымящуюся жареную картошку, которую нес из русской кухни. И все же ее было по-прежнему вдоволь, и она была теплой и хрустящей, когда он донес ее до моих нар. Страстная мечта наесться досыта будила воспоминания о еде в другой жизни: о людях, городах, запахах и кулинарных секретах. В том больничном бараке все радости, все счастье жизни уместались в жареной картошке!

После еды я должен был собираться для перевода в лазарет Аткарска, в 80 км вниз по Волге. Венгерский санитар помог мне одеться. Натянуты были пальто и scharka – русский головной убор с клапанами для ушей, рука прижимала к телу мешок.

Подошли два немецких санитара с носилками.

Каждый пленный знал, что за смерть в лагере, за ее регистрацию и выдачу свидетельства о смерти отвечает русский лагерный врач. За регистрацию смерти вне лагеря нес ответственность принимающий врач в лазарете. И тем не менее я чувствовал особое участие Глинского, хлопчущего о моей судьбе, – быть может, в тревоге за собственного сына.

И как врач, и как организатор этот русский человек внес свою долю в то, чтобы дать мне шанс выжить.

Окончательное решение было вне власти человека.

Глинский пожелал мне удачи и повторил свое «skora damoi». Мои бумаги он отдал Любе, медсестре, которая должна была доставить меня в лазарет.

Накрыв брезентом, меня вынесли из лагеря. У ворот ждал грузовик.

Я лежал в тепле между армейской меховой курткой шофера и сидящей у двери медсестрой. Мы ехали по замерзшей дороге к ближайшей станции.

Пыхтя, поезд по заснеженным рельсам подъехал к маленькой станции, стоящей одиноко посреди поля, засопел и остановился. Он был битком набит женщинами всех возрастов и старыми мужчинами, которые везли в город на базар ящики и ведра с тыквами, свеклой, простоквашей, яйцами, семечками и даже с несколькими курами.

Люба попросила женщин потесниться и мы сели на лавку.

Чтобы мне было легче, она опустила мою голову к себе на плечо, на мягкий мех шубы.

Она не произнесла ни слова, но наши взгляды несколько раз встретились.

От ее близости во мне росло чувство домашнего уюта и полной защищенности. Она слышала мое хриплое дыхание. Она заботливо смотрела на меня. Ее взгляд обволакивал меня состраданием.

Мохнатый воротник ее шубы обрамлял широкое лицо с большими грустными глазами. Оно напоминало ясные лица крестьянских мадонн.

Ангел-хранитель был со мной, не где-то далеко в облаках, а совсем рядом.

Голова моя лежала у него на плече.

В Аткарске Люба помогла мне выбраться из поезда. Перед вокзалом, на засыпанной снегом площади она усадила меня на скамейку. Потом скрылась за сугробом, в толчее людей, скоплении грузовиков, чтобы найти машину до лазарета. Она вернулась с армейской машиной, за рулем сидел молодой шофер.

Мы остановились перед тремя серыми строениями, напоминающими казармы, – лазаретом Саратовского округа для военнопленных. Постройки стояли вплотную к незаасфальтированной дороге. Посреди дороги заledenели две глубокие, наезженные в осеннюю непогоду колеи, – езда по ним была тяжелым испытанием и для людей, и для техники. По обеим сторонам стояли деревянные дома с дымящимися трубами на жестяных крышах и цепочка кривых деревянных столбов, на которых висели провода.

Люба подхватила меня под руки и повела к зданию, в котором принимали тяжелобольных. Совершенно ясное сознание сочеталось во мне с прежде никогда неведомой физической слабостью.

Нас отправили в моечную – комнату с ваннами, ведрами, шлангами и плитами, от которых валил пар. Два санитары в белых халатах мыли больных и проводили дезинсекцию.

Гора моей одежды лежала на табуретке рядом с ванной, в которую выливались поочередно ведра горячей и холодной воды. Прелюдия к горячей ванне будоражила все органы чувств.

Последний раз я принимал ванну 1 января 1945 года в Шлезии.

И вот я лежал по самые плечи в горячей воде. Облака пара поднимались над большим полотенцем и бочонком с жидким мылом. Один санитар мыл меня, другой поддерживал слабые члены.

Люба молча стояла рядом, не спуская с меня глаз.

Мы должны были пройти просвечивание. В конце длинного коридора за экраном рентгеновского аппарата стоял немецкий врач Ландманн.

Цепочка исхудавших мужчин, в рубашках и трусах, медленно продвигалась к экрану.

Люба вдруг закричала по-русски на весь коридор. Ее встревоженный голос отразился эхом от каменного пола и кафеля:

– Тяжелобольной! Пожалуйста, немедленно пропустите, нельзя ждать. Пожалуйста!

Из-за экрана вышел врач и махнул нам, чтобы мы шли вне очереди. Он стянул с меня рубашку и прижал мое тело к рентгеновскому аппарату. Люба осталась стоять рядом.

Я должен был глубоко дышать. Легкие издавали стон, боль была, как от ножа.

С той стороны раздался голос врача:

– Оба легких черные. Это очень серьезно.

– Вы должны хотеть жить!

Потом он вышел из-за экрана, внимательно посмотрел на нас и сказал: «Вторая палата, здесь же, на этом этаже».

Люба снова подхватила меня под руки. Она несла мой мешок. В палате нас встретил Хайнц, немецкий санитар, одетый в белую форму, как в детской книжке с картинками. На чистом льняном белье и настоящих кроватях лежали восемь тяжелобольных. Многоэтажных нар здесь не было. У стены был туалет – стул, под ним кадка. Я получил незанятую кровать и чистую постель.

Люба осталась стоять у двери. Она внимательно за всем следила: за размещением моего мешка, за сменой лагерной рубашки на чистую ночную, за уколом камфоры для поддержания сердца.

Когда санитар вытащил из моего бедра иглу, он легким пинком развернул меня лицом к двери. Люба улыбнулась. Она выполнила свое задание. Она махнула мне рукой: «Do swidanija!» Мы с нежностью смотрели друг на друга.

Потом она исчезла за медленно закрывшейся дверью. Поблагодарить ее я уже не мог. Не было даже рукопожатия.

Больше я ее никогда не видел.

7.

## Шипы и розы

В ТОТ ДЕНЬ рано утром зажегся свет и закончилась первая ночь в больничной палате. За окном на деревьях лежал толстый слой снега. Он казался красноватым от света из окон коридоров и палат, пока морозный день не озарило утреннее солнце.

Девять тяжелобольных, с болезнями желудка, кишечника и легких, лежали на кроватях рядом друг с другом и напротив друг друга. Каждый мог видеть всех остальных.

Разговаривали редко. Палатный санитар Хайнц и русская медсестра Рая подавали больным в постель термометры, тряпки для обтирания и маленькие мисочки с водой.

Лишенные сил, больные полностью зависели от посторонней помощи. Очень ослабленных, уже не способных самостоятельно менять положение в постели, приходилось переворачивать. Для лечения пролежней имелась специальная мазь.

Когда ночь окончательно была рассеяна утренними сумерками, принесли завтрак: несколько ломтей белого хлеба, кубик масла, горячий темный чай – дома мы всегда называли настоящий чай русским, даже если он был из других стран.

Все ели очень медленно, скудный завтрак длился долго, как настоящее пиршество.

Последним закончил завтракать больной напротив меня. Память отчетливо запечатлела его лицо.

Серая кожа лица была натянута на кости, как пергамент. Из глубоко завалившихся глаз глядела смерть, уже коснувшаяся его, – как у танцующих танец смерти на старых картинах, где хоровод возглавляет фигура с косой. Он был намного старше меня. У него было, как и у меня, двустороннее воспаление легких.

После того как убрали посуду, ему принесли особую порцию, ему одному – вот уже много дней, как я узнал позже, прописанную определенную дополнительную еду. Врач этого отделения могла распоряжаться ежедневно тридцатью порциями для самых тяжелых больных – из числа восьмисот военнопленных, находящихся на излечении.

Когда Рая принесла ему в постель дополнительную порцию еды, он рванулся, сел, сам, без посторонней помощи, и стал медленно есть доставленное как по мановению волшебной палочки из сказочной страны кушанье: два кусочка куриной грудки без кожицы и горка сладкого молочного риса – на белой тарелке.

Едва он все доел – немыслимый для живущего впроголодь гражданского русского населения деликатес, – как начался обход. В палату вошли две женщины в белых халатах и черных сапогах.

Первой шла главврач – высокая красивая женщина с косой, уложенной вокруг головы, и чуть раскосыми, спокойными, изучающими глазами. За ней следовала врач отделения, державшая наготове карточки больных. В ее облике сочетались и грусть, и замкнутость, и участливое расположение.

Еще на той долгой дороге в свой первый лагерь я научился читать по лицам. Верная их оценка могла

сыграть для выживания решающую роль. Она позволяла рискнуть выйти из колонны – мимо часового, который был обязан стрелять, если заметит это, – чтобы попросить хлеба, воды или овощей.

С этими женщинами я решил бы на такой риск.

Обе они были в возрасте моей матери.

Во время обхода составлялось врачебное заключение – по температуре, тонам сердца, частоте пульса, иногда после внимательного взгляда на высунутый язык, расспросов о болях, пищеварении, сне, голоде и способности передвигаться. Результаты сравнивались с данными в карточке.

У моей кровати они остановились в то утро впервые.

Врач отделения протянула главврачу мою карточку:

– Вчера поступил.

Та прочла на заранее открытой странице историю болезни.

Я не знал, содержала ли она только медицинские сведения, или там были упомянуты также и саботаж, и штрафная бригада.

Немного помолчав, главврач спросила по-русски:

– Как вы себя чувствуете?

– У меня был хороший завтрак, но я по-прежнему очень хочу есть.

Она улыбнулась, когда Рая перевела мой ответ. Это придало мне смелости:

– Могу и я получать особую порцию, которую только что съел товарищ напротив?

Выслушав перевод, главврач пошептала с врачом отделения, опять улыбнулась:

– Посмотрим.

Вскоре после обхода медсестра принесла мне волшебную порцию с молочным рисом, который дома бывал

только иногда по воскресеньям, и только на десерт – с брусникой, которую мы собирали в Померанском лесу.

Ощущение благополучия заполнило тело и душу, далекий дом будто снова стал ближе.

Врач с внимательно изучающими глазами казалась мне моей заступницей.

Я почувствовал себя могучим великаном, хотя сил не хватало даже на то, чтобы самостоятельно перевернуться с боку на бок.

На третий день больной напротив умер. Утром мы увидели, что он лежит с открытыми застывшими глазами. Был вызван немецкий врач, который засвидетельствовал смерть и закрыл умершему глаза.

Спустя много лет немецкий Красный Крест прислал мне список и фотографии пропавших без вести немецких солдат, находившихся в Аткарске.

В худом лице ефрейтора Бутцлафа я узнал смертельно больного товарища, что лежал тогда напротив меня. Я помог отыскать и других людей, которые официально подтвердили его смерть.

Для семьи Бутцлафа неведение о его судьбе в течение долгих лет сменилось уверенностью в его смерти. Какое-то время я переписывался с его вдовой. Теперь она знает, что муж умер с миром и что долгое время перед смертью он получал дополнительно особое питание – так русская врач пыталась спасти ему жизнь.

Особое питание было ему прописано как лекарство, я же получал его – в течение четырех недель, – потому что попросил об этом.

Отныне мне каждый день приносили дополнительную порцию с чем-нибудь укрепляющим: творог с простоквашей, нежное мясо, пшеничную кашу с подсолнечным маслом, обезжиренные мясные фрикадельки с карто-

фельным пюре, частенько – тот самый молочный рис, с мясом или маринованными фруктами.

Я вспомнил полные ужаса рассказы отца: будучи заведующим отделом здравоохранения земельной администрации он ведал во время войны в числе прочего профилактикой эпидемий в лагерях при химических заводах Лейна\*. Он рассказывал об истребляющем голоде, о том, как жевали подошвы, куски мяса из мертвых тел. Сделал бы он тогда в своем ужасе хоть что-нибудь, если бы мог предположить, на какое беспримерное поведение окажутся способными врачи другой воюющей стороны?

Вверенные ему пленные тоже были чьими-то сыновьями.

Я не смею судить, потому как не могу ответить себе, как поступил бы сам в той ситуации.

Мне не пришлось тогда, как моему отцу, принимать решения и иметь дело с собственной душой.

Мое доверие к врачебной опеке росло, несмотря на почти полное отсутствие лекарств.

Моей надежде все время удавалось найти опору.

Я чувствовал тепло человеческого участия, когда меня переворачивали и когда поддерживали, помогая встать, я чувствовал укрепляющее действие дополнительного рациона. Постепенно от растущих душевных сил стали прибывать и физические.

Легочным больным, кроме того, помогало и лечебное действие горчичников, старого домашнего средства: верхнюю часть тела протирали холодной водой и тут же заворачивали во влажные горячие полотенца, сма-

---

\* Одно из крупнейших химических предприятий Германии, где во время войны работали советские военнопленные.

занные толчеными горчичными зернами. Больного накрывали несколькими одеялами, под которыми тотчас начинал расти жар. Жар нужно было терпеть; только когда жар переходил в боль, пациент подавал знак и его разбинтовывали, чтобы не сжечь кожу.

Врач отделения приходила в палату ежедневно.

Она общалась с нами больше взглядами, чем немногословными вопросами.

Только однажды за четыре недели она присела на край моей кровати. Она спросила, как я себя чувствую, и я ответил, что хорошо. Она серьезно смотрела на меня:

– Мой отец был заколот в окопном бою немецким солдатом, а я вот здесь... И пытаюсь вылечить вас.

Несколько дней спустя после этого признания она перевела меня из своей палаты в верхний больничный зал. Я уже мог сам дойти по коридору до туалета, держась за двери и стены. Моя жизнь была вне опасности.

В верхнем зале, где стояли сто шестьдесят нар, я получил освободившееся место. И обычный рацион.

За все последующие восемь месяцев, что я пробыл в лазарете, с тем врачом я больше не виделся. Но с тех пор она постоянно присутствует в моей памяти.

Началась новая пора в моей жизни. На чахлах, усохших корнях за девять месяцев появились новые ростки – как при втором рождении.

Я читал немецкие книги, списанные библиотекой бывшей немецкой саратовской школы, среди прочего и «Повести Белкина» Пушкина.

В одном истрепанном томике я обнаружил «Трубача из Экингена» Шеффеля. Одну из фраз оттуда – «Уродливо это в жизни устроено, что у роз обязательно торчат шипы» – мой дед когда-то переделал под свою жизненную философию: изумительно это устроено в

жизни, что «у шипов обязательно торчат розы». Это воспоминание стало обильным поливом для моего нового цветения.

Роза с шипами стала частью узора на медальоне, работая над которым я продолжил свои занятия инкрустацией – увлечением юности.

Медальон имел форму круглой коробочки и раскрылся, как карманные часы.

Я изобразил на нем четыре символа. На одной из внутренних сторон было изображено пылающее сердце, опутанное цепями; симметрично по окружности располагались четыре слезы. На другой стороне была изображена щебечущая на ветке птица, окруженная листьями, по бокам – четыре цветка. На одной из внешних сторон я изобразил сломанный меч в обрамлении колючей проволоки и четыре капли крови, на другой – цветущую розу с шипами и четыре звезды.

Белое кленовое дерево я достал в столярной мастерской, маленькие ножки мне сделал один немецкий кузнец: он обработал на наковальне раскаленные гвозди для подков, закалил их в воде и заточил о точильный камень.

Быстро накопился различный материал для вставок: щепки от поваленных и разрубленных плодовых деревьев, перламутр и цветной целлулоид от коробочек изпод мыла, обломанные ручки зубных щеток.

Все эти драгоценности я мог оплачивать продуктами, которыми стал располагать в избытке.

Немецкий печник, один из особо уважаемых специалистов в лазарете, нуждался в помощнике для выполнения многочисленных заказов в квартирах русских офицерских семей. Я сразу получил это место – других пациентов приковывал к нарам страх быстрого выздоровления, восстановления сил и выписки назад в лагерь.

Мы хорошо ладили друг с другом.

Русские заказчики платили нам щедро.

Печник нуждался во мне, мне же было необходимо иметь, чем расплачиваться: в лазарете за мной оставался каждый день обед, а продуктов, которые я приносил от русских заказчиков, для меня одного было слишком много.

Часть их пошла оказавшемуся среди пациентов бывшему переплетчику, который с помощью картофельного крахмала и бумаги из-под мешков с цементом починил мой альбомчик с фотографиями. В одном из отделений этого альбомчика я спрятал бритвенное лезвие и иголку для шитья.

Заново наклеенные фотографии родных сыграли позднее решающую роль в моем возвращении домой.

Приносимые извне продукты и занятия инкрустацией вызывали у моих соседей по нарам любопытство. Они расспрашивали меня о моем прошлом и о времени, проведенном в лазарете. О маленькой больничной палате они не слышали. Но о работающем там враче, чье имя так и осталось для меня неизвестным, они узнали по моим рассказам, о ней рассказывали и другие больные.

– Ты был у еврейского врача, у госпожи Глинской. Она заботится о каждом тяжелобольном. Ее муж тоже врач, в каком-то лагере.

Через девять месяцев после поступления в лазарет, как после второго рождения, я стоял в ординаторской перед комиссией. Комиссия вызывала по одному мужчин, которых следовало проверить на пригодность к работам.

Сидящий в середине стола Глинский поприветствовал меня широкой улыбкой:

– Все хорошо, Крамер? Снова работать?

Счастливым от этой встречи, я подтвердил:

– Все хорошо – работать!

Мой внешний вид был, должно быть, очень убедителен, до положенной проверки ягодичных мышц дело не дошло. Мне было велено собираться для обратной транспортировки в лагерь.

Глинский вернул меня в тот же лагерь, в котором когда-то вытащил меня из штрафной бригады. Из этого лагеря он послал меня в лазарет в сопровождении Любы. Там я оказался – в числе других восьмисот пленных, лежащих в трех корпусах, – в палате его жены.

Я давно уже не считал такие встречи случайными.

Круг замкнулся.

8.

## Медальон

В ТОТ ДЕНЬ мой мешок лежал раскрытым в изголовье нар. Он был обыскан.

Не хватало медальона и шестигранного деревянного ларчика с инкрустированным орнаментом на стенках и крышке.

В пустом земляном бункере, пока все военнопленные были на работе, прошел обыск, так называемое прочесывание.

В комендатуре я спросил у коменданта о местонахождении моих вещей.

Комендант был из Венгрии. Он сменил на этом посту немца Шмидта, который впал в немилость и был поэтому переведен в другой лагерь. Рядом с венгром сидел Глинский, русский лагерный врач. В руках он держал медальон.

Комендант, неуклюжий парень, достал из кармана галифе ларчик с моей цветной инкрустацией, на который он, скорее всего, уже успел сесть, – по боковому орнаменту шестигранника, с тонкими выдолбленными стенками, сделанного из одного куска тополиного дерева, шла трещина.

Венгр спросил, хочу ли я получить ларчик обратно или согласен продать его за хлеб.

Так называемые функционеры (служащие русского лагерного управления – зависимый, но привилегирован-

ный слой) имели особые жилище, одежду и питание. Свою ежедневную порцию хлеба они могли обменивать на помидоры, огурцы, лук, молоко, фрукты.

Я хотел взглянуть на ларчик, и комендант протянул его мне.

– Вы сдавили его и сломали, – сказал я. – Как я теперь его почию?

– Тогда возьми хлеб.

Он достал из шкафа полбуханки и протянул мне.

Своими огромными, как ковши экскаватора, ладонями он опять сгреб к себе в карман ларчик с готическим орнаментом на крышке в виде шести рыбных пузырей, вращающихся по кругу. Ларчик стоил гораздо больше, чем полбуханки хлеба.

Во время этого обмена имуществом Глинский молча сидел рядом. Его взгляд скользил между мною и медальоном. Тот был чуть больше пятимарковой монеты.

Бережно поворачивал он к себе цветную инкрустацию: роза в шипах, сломанный меч в колючей проволоке с каплями крови, птица на ветке, красное, пылающее сердце, окруженное цепями и перламутровыми слезами.

Он протянул мне его и произнес по-русски:

– Крамер, пожалуйста, продай мне сердце.

Он мог иметь в виду только одно: «Давай! Не жмись! Расстанься с ним!» Но понял я это лишь дома спустя много лет.

От моего ответа мне больно до сих пор:

– Я свое сердце не продаю.

Тогда он отдал мне медальон, не повторив больше своей просьбы.

Когда спустя несколько дней мы встретились на лагерной улице, он еще раз попросил у меня медальон, но больше не просил о продаже.

Он снова назвал меня по имени:

– Крамер, пожалуйста, отдай мне сердце.

И вновь я отверг его просьбу:

– Сердце я не отдам.

Домой я медальон не привез. В какой-то момент он канул в неизвестность.

В ноябре 1948 года, перед возвращением домой, я доверил его товарищу из лагерного политотдела. Я надеялся, что его, как политического функционера, будут досматривать перед возвращением в Германию менее строго, чем меня. Больше я о том товарище ничего не слышал.

Только уже на свободе душа начала скорбеть об утерянном сердце с искусно сделанными цветными вставками из дерева и целлулоида. Воспоминания превратили перламутровые слезы в соленые и жгучие.

Одержимый желанием привезти домой хоть что-нибудь из личного имущества, я мечтал о выгоде, которая обернулась непереносимой потерей – не потому, что сердце потерялось, а потому что я отказал в нем тому, кому оно по праву принадлежало.

Глинский сохранил во мне волю к жизни, он не дал мне погибнуть. Я обязан ему тем, что смог сделать этот медальон, – в лазарете, в который он меня отправил, вытащив из штрафной бригады.

*Omnia mea mecum porto* – все мое ношу с собой – учили мы в школе на уроках латыни, не догадываясь, чем эта мудрость может обернуться для нас – для наших раздумий и поступков.

Спустя десятилетия мне припомнились фигурки в часах на башнях старых ратушей. Движимые невидимой силой скрытого шестеренчатого механизма, фигурки, когда бьет их час, выходят из темноты на свет. Бой ча-

сов заставляет каждую из них, каждую – в свой час, показаться в окошке. Сдвинется стрелка, и фигурка снова скрывается в темноту.

Движущийся круг выводит фигурки на свет, даже если никто не смотрит и не ждет.

Сегодня круг с фигурками поворачивает во времени моя память, и всякий раз я вижу в окошке лицо Глинского.

9.

## Закон и наказание

В ТОТ ДЕНЬ на плечо моего пальто легла сзади чья-то рука.

Как все русские солдаты, военнопленные в ту зиму тоже были одеты в пальто с шершавым кожаным верхом и мехом внутри.

Кто-то, жарко дыша мне в затылок, кричал:

– Schto eto takoje?!

Держа на плече ветку, я обернулся и посмотрел в лицо русскому милиционеру.

Я не успел постучаться в деревянные ворота маленького двора. Моя заказчица не вышла еще из засыпанного снегом рубленого дома. Кража дерева с ближайшей лесопильни и самовольный уход с работы были налицо. Неизвестным оставался тот факт, что мой маршрут ежедневно, а не только сегодня, начинался от дома директора лесопильни и что потом я обходил еще и своих частных заказчиков.

«Dawai, raschli!» – приказал мне милиционер.

Утопая в снегу, мы пошли к лагерю, расположенному рядом с лесопильней, – над Волгой, по которой плыли огромные белые льдины.

Милиционер сдал меня немецкому политруку, возмущенно воскликнувшему в полном соответствии с фактами:

– Убегать с работы и распродавать дрова?!

В немецкой комендатуре политрук обыскал меня. Он нашел 82 рубля, равноценных примерно 27 фунтам хлеба.

Я подтвердил самовольный уход с работы.

О договоренности со старшим рабочим, киргизом, к которому я был распределен в качестве помощника на лесопильной раме, я умолчал.

Из отваливающих при работе пилорамы боковых частей стволов я делал ежедневно с помощью проволоки связки, которые по утрам клал под наружную лестницу дома директора лесопильни. Назавтра, оставляя очередную порцию, я находил там свой заработок: мелкие рублевые купюры, корки хлеба и нередко миску с вареными, еще теплыми овощами.

Директора лесопильни я никогда не видел, а заказы получал через киргиза. Это он ежедневно выгораживал меня, отсутствующего во время проверок лагерной охраной. Он же всегда разрешал мне взять несколько веток, чтобы потом продать моим собственным заказчикам.

Обыскав меня и переговорив с кем-то по телефону, политрук отвел меня в бюро НКВД, к русскому майору, отвечавшему за лесопильню.

Открылась обитая толстая дверь, за которой висели тяжелые портьеры. Мы вошли в комнату, где за письменным столом сидел майор.

Переданные ему рубли он разложил перед собой.

Я поздоровался и снял шапку.

Справа от двери за маленьким столиком сидела переводчица в форме лейтенанта, она перевела майору отчет немецкого политрука.

Майор, которому перевалило за сорок, был плотного атлетического телосложения, с ухоженными, коротко подстриженными, уже поседевшими серебристыми воло-

сами. Он слушал молча. Слабый свет настольной лампы позволял разглядеть его неподвижное серьезное лицо.

Стройная переводчица, которой было под тридцать, с маленьким узлом волос на затылке и аккуратным пробором посередине, переводила с немецкого деловым тоном, никак не передававшим эмоциональность докладывавшего политрука.

Потом доложившего отпустили.

Начался перекрестный допрос\*, продлившийся два с половиной часа:

– Вы крадете нашу социалистическую собственность. Вы продаете дрова с лесопильни, которая принадлежит нашему народу.

Сидящая рядом со мной переводчица перевела это на немецкий и мой ответ на русский:

– Я отношу их гражданам, которые живут по соседству.

– Но вы продаете их!

– Иногда за деньги, но в основном за еду.

– Что значит за еду?

– За корки хлеба, вареную тыкву, свеклу, картошку, иногда дают еще лук или чеснок, бывает, кукурузу.

– Сколько?

– Миску с вареными овощами за связку дров. Часто еще и с кусочком хлеба.

– Где вас взяли в плен?

– Под Дойч-Бродом.

– В какой части вы состояли тогда?

– В Восьмой Егерской дивизии.

---

\* Название, закрепившееся среди военнопленных за допросом, который на самом деле «перекрестным» – как это понимается в юридической практике – не был.

Большинство ответов он записывал, а может, только делал вид, что записывает. Переводчица что-то помечала.

– Где находится Дойч-Брод?

– В Чехословакии.

– Вы продавали только вязанки дров?

– Нет, ветки тоже.

– Сколько раз это было?

– Думаю, четырнадцать.

– Что вы получали за них?

– За ветку от трех до пяти рублей.

– Что делал ваш полк?

– В апреле 45-го мы стояли на линии фронта между Словакией и Чехией – как горная артиллерия.

– В каком вы были звании?

– Младший офицер-фаненюнкер.

– Сколько веток вы продали?

– Четырнадцать.

– Вы ежедневно относили дрова?

– Да, каждый рабочий день.

– В каком возрасте вы попали на фронт?

– В девятнадцать лет, 13 апреля 1945 года, в день моего девятнадцатилетия.

Способ перекрестного допроса был мне знаком по прошлым лагерям. Из-за обращавших на себя внимание запрещенных контактов с русским гражданским населением меня часто вызывали на допрос.

Допросы всегда подтверждали действительно имевшие место самовольные отлучки с рабочего места, иногда за мной закреплялось определение «спекулянт» или «паразит», что было небезопасно. Несколько раз меня спрашивали о связях с антисоветчиками. Подобные подозрения я старался рассеять тем, что с особой благодарностью рассказывал о готовности помочь мне, с которой я сталкивался в русских людях.

После допроса, сразу же или вскоре, всегда следовал перевод в другой лагерь – тридцать два раза за три с половиной года.

Майор спросил об образовании отца, о школах, которые я посещал, образовании сестер, местах дислокации войск и о начальной военной подготовке, о дате рождения матери и профессии ее отца. Он хотел знать места и даты военных операций, сколько и чем платили за украденные дрова, имена преподавателей офицерской школы.

Из все разрастающегося количества информации, важной и неважной, он выхватывал записанные за мной данные для повтора и контроля, следя за каждым противоречием.

Вопросы о политических и военных фактах он пересыпал вопросами о семейной и частной жизни. В эти все снова и снова забрасываемые сети из ненужных вопросов и ответов он вплетал собственно допрос о составе преступления в связи с кражей социалистического имущества.

Он записывал, сравнивал, перепроверял, спрашивал, перелистывал записанное, повторял, все время настороженно ожидая, что вдруг в сетях окажется запутавшаяся рыба.

Он никуда не спешил.

Противоречивые показания вызывали недоверие.

Они сказывались на судьбе допрашиваемого еще хуже, чем признание собственной вины.

Одно общее правило указывало мне верный путь: военнопленного при подобных преступлениях лучше всего защитит именно правда\*. Следование этому правилу

---

\* В отличие от советских граждан немецкие военнопленные были защищены Женевской конвенцией – чистосердечное признание голодного военнопленного в краже социалистического имущества могло уберечь его от сурового наказания, на которое был бы обречен гражданин СССР.

не имело нравственной подоплеки. Оно определялось чисто прагматически – из учета собственных оставшихся сил и из потребности предоставить умственной концентрации, ослабленной голодом, поручни, за которые могла бы ухватиться память, – как при скалолазании со страховкой.

При подобных преступлениях в лагере для военнопленных не были предусмотрены ночные допросы, бьющий по глазам свет, камеры-одиночки, пытка лишением сна, не было избиений и пыток. Поэтому было нетрудно строго придерживаться основного правила – говорить правду и при этом все-таки не выдать главного заказчика, моих собственных заказчиков и моего соучастника.

Майор положил на свои записи купюры.

– Вот тут восемьдесят два рубля. Вы не заработали их трудом.

– Это небольшие накопления для покупки хлеба.

– Все от продажи краденой древесины?

– Не только, я продавал свою порцию махорки. Я не курю. Я также продавал часть своего жидкого мыла.

– И чем же вы мылись?

– Песком из Волги, при сильном загрязнении.

Он спросил о количестве и цене проданных пайков, проверил свои записи о ветках и вязанках, о моем полке, о сестрах, прочие факты и даты.

Неожиданно он встал и, не говоря ни слова, вышел.

Я не знал, сколько времени пройдет до его возвращения, но этого времени оказалось достаточно для короткого общения – двух вопросов и двух ответов.

– Вы невероятно хорошо говорите по-немецки. Откуда это?

– Я закончила факультет германистики. До войны я работала учительницей немецкого в немецкой саратовской школе.

Потом переводчица спросила меня:

– Почему вы, немцы, так боитесь НКВД?

– Для нас НКВД то же, что для вас СС.

Тут снова вошел майор.

Сев за свой стол, он, не произнося ни слова, изучающе обвел глазами комнату. Он что-то учуял. Что-то изменилось за время его отсутствия.

Он поманил меня пальцем, я медленно направился к его столу. Своим «stoi» он остановил меня в трех метрах от себя.

Теперь лейтенант переводила из-за моей спины, и я не мог ее видеть.

– Вы ежедневно разносили наши дрова?

– Да, я ежедневно отпрашивался у старшего по пилораме из-за моего поноса, несколько раз в день.

– Знал он, куда вы идете?

– Знал – в туалет.

Он сделал паузу. Он водил карандашом по своим записям, как будто считая в уме. Потом посмотрел на меня – не выслеживая, а напрямую. Он очень серьезно сказал:

– Здесь не все деньги.

Понимая, что подобное замечание могло быть не столько результатом перепроверки всех записей, сколько еще и психологическим расчетом, я открыл карманный альбомчик с фотографиями моей семьи.

– Вы напомнили мне про мою последнюю записку на три фунта хлеба. Вот еще десять рублей.

Из тайничка между двумя не склеенными друг с другом фотографиями я достал сложенную бумажку.

– Я хочу посмотреть, – потребовал он и протянул руку. Он не взглянул ни на одну фотографию. Он заглянул в тайничок.

Он вытащил оттуда иголку для шитья и заржавевшее лезвие и сказал, показывая на иголку:

– Вы знаете, что вам запрещено иметь это?

– Я знаю.

– Ну и?

– Я не хочу ходить оборванцем.

Он вернул иголку на место.

– А это, лезвие? И это запрещено. Побриться этим все равно уже невозможно?

– Я спрятал его не для того, чтобы бриться.

– Для чего же?

– Если когда-нибудь станет совсем плохо...

Не спуская с меня глаз, он молча положил назад и лезвие – и вернул мне альбомчик.

Эта его неожиданная реакция пробудила во мне доверие к нему. Оно вплелось в заключительную фазу допроса.

Согласно настенным часам над головой майора, прошло два часа. Теперь речь шла о мотивах, знании закона и размере наказания:

– Вы знаете наш закон о краже социалистического имущества?

– Да.

– Откуда?

– Их регулярно зачитывают на лагерной площади.

– Когда это было в последний раз?

– Два месяца назад.

– А какое вам положено наказание, вы тоже знаете?

– Да.

– Какое?

- Принудительные работы.
- На какой срок?
- До двадцати лет.
- И хотя вы знали это, вы осмелились посягнуть на нашу собственность?
- На отходы собственности.
- Почему?
- Потому что я надеюсь когда-нибудь более или менее здоровым вернуться домой в Германию.

Он молчал. Он сверлил меня взглядом. Не враждебно, не возмущенно – серьезно.

Последний вопрос задал ему я:

- Что бы вы делали на моем месте?

Тогда он закричал на меня и указал рукой на дверь:

- Na ulizu! Idi, won!

Он не смог одернуть меня своим «вопросы здесь задаю я».

Крик захлестнул его.

Мы поняли друг друга.

10.

## Предложение

В ТОТ ДЕНЬ я стоял на берегу Волги, у затона. На следующее утро после допроса я был переведен работать на берег.

Сюда сплавляли плоты из дубовых и еловых стволов. С помощью сап стволы вынимали из плотовых скоб и втаскивали по мосткам на два транспортера, зубчатые ленты которых у самых мостков уходили под воду. Они поднимали бревна наверх, к крытым пилорамам.

По реке, блестя на солнце, плыли льдины. Стоял мороз.

С широкой, медленно текущей Волгой я был знаком по прежним подрядам – опасной и крайне тяжелой работе.

Опасной, потому что рядом с нами под особой охраной работали на баржах уголовники, которые, как хищники, набрасывались на каждого замешкавшего в створе военнопленного. В считанные секунды его раздевали догола. Содержимое его карманов, одежда и обувь распределялись в толпе нападавших. О том, что нападение и грабеж имели место, можно было понять только потому, что неожиданно кто-то появлялся без одежды и обуви, или полуодетым – если охранник успевал вмешаться.

Крайне тяжелой работой была погрузка и выгрузка цемента, рассыпного или упакованного в мешки.

Двое крепких мужчин взваливали мешки с кучи на затылок и плечи носильщиков. Случалось, что кто-нибудь не выдерживал многочасовую нагрузку и падал без сил.

Носильщики должны были переносить груз по перекинутой доске с берега на баржу или с баржи на берег десять часов подряд.

Летом от жары и берегового ветра перекидывание рассыпного цемента с баржи или с грузовика превращалось в чудовищное испытание. Пот и цементная пыль покрывали остриженные головы цементной коркой. Едкий соленый пот тек в глаза, потому что не было волос, которые могли бы остановить его.

По вечерам было больно отдирать от головы застывший цементный раствор. Он сдирался вместе с кожей. Лечить нагноения можно было только лишь собственной жгущей мочой.

Зимние погрузочные работы были гораздо меньшим испытанием в сравнении с периодами, когда стояло летнее пекло.

В сорокаградусный мороз носы наши становились совершенно белого цвета, который предвещал отморожение. Вытянув вперед нижнюю губу, мы направляли на них теплое дыхание. Мы следили друг за другом и вовремя предупреждали: «Потри нос!». Тяжелая работа поддерживала в нас пульсирующее тепло.

Охранник находился в менее выгодных условиях. Он мерз больше, чем мы, и не подгонял нас.

Спустя несколько дней после допроса, вечером, едва мы вернулись в лагерь, через дежурного сержанта мне снова было приказано явиться в бюро НКВД.

Я опять стоял перед тем же майором, чье имя так и осталось мне неизвестным.

Покрытую инеем шапку со свисающими ушами я, поздоровавшись, снял и держал в руках. На валенках – доходивших до колен войлочных сапогах – висели кусочки льда, постепенно таявшие.

Майор приказал подойти вплотную к столу, и я хорошо смог рассмотреть его поверхность.

Отеческим тоном он снова начал допрашивать меня. Это продолжалось недолго. Он говорил по-немецки, а потом перешел на телеграфный стиль из смеси немецких и русских слов.

Нас было двое. Место переводчицы пустовало.

Он обращался ко мне по имени, а к концу допроса перешел на «ты».

Тон его был крайне участливым.

– Ну как дела, Крамер? Все еще очень голоден?

– Как волк.

Последний вопрос он задал, играя уже новую роль. Я догадывался, почему.

– Крамер, сколько рублей я у тебя вчера отобрал?

– Девяносто два.

Он полез в задний карман брюк и выложил на свой стол несколько купюр – как банковский работник, обслуживающий клиента.

– Хочешь получить их обратно?

– Вы же у меня их забрали.

– Ну, Крамер...

Дальше последовала пантомима: он прикладывал ладони к ушам и вертел головой из стороны в сторону, потом приставил сложенные пальцы к глазам, будто рассматривал что-то в подзорную трубу и снова завертел головой.

– Ну, Крамер, понятно?

– Ni ronimaju.

Он пояснил свои жесты на немецком, а потом нарисовал на своей ладони свастику.

– Крамер, ты смотреть, слушать – какой товарищ полицаи, СС, гестапо. Ты приходишь, называть имена, пять, шесть имена, получать деньги, покупать еда, хлеб, масло, молоко. Nagascho?

В голове у меня вертелся последний допрос, на котором он вернул мне иглу и лезвие.

Внезапно я вспомнил слова Наполеона: «Русский ценит предательство и ненавидит предателя».

Я отважился попрощаться и щелкнул задниками вальенок:

– Таких товарищей я не знаю.

«Отдавая честь», я приложил руку к надетой шапке и точно по-армейски повернулся «кругом», прежде чем выйти.

На секунду я задержался у двери и прислушался. Меня никто не окликнул.

В спальном помещении на вопрос о моем наказании я ответил:

– Ничего не было.

Во мне заподозрили стукача, стать которым я только что отказался.

11.

## «Он же болен!»

В ТОТ ДЕНЬ армейский грузовик доставил меня в лагерь на окраине Саратова. Водитель и русский сержант должны были закупить в магазине продукты для лесопильни, а по дороге – передать меня в лагерь, организованный при асфальтовом заводе.

Как и другие лагеря для военнопленных, он подчинялся специальному военному управлению, распределявшему военнопленных на саратовском участке строительства газопровода, – в сотрудничестве с государственной строительной организацией, ведущей прокладку газопровода Москва – Саратов.

Поскольку переводили только меня одного, прием прошел быстро: передача бумаг дежурному, затем немецкий комендант и распределение в барак.

По утрам, после выдачи стакана чая и краюхи хлеба – дневная норма в 670 г делилась на три порции – начиналась работа.

Меня приставили к русскому смоловару.

Мы работали вдвоем у смоловарни – черное страшное лицо, похожее на паровоз без тендера. Из открытого спереди парового котла вырывалось гораздо больше пара, чем из тоненькой трубы. Забрасываемые сзади бруски смолы стекали черной густой массой в расположенный чуть ниже отстойник.

При прокладке газопровода жидкая смола использовалась для покрытия и конопаченья.

Смоловар посвятил меня в премудрости работы. Он был из Сибири, крепкого телосложения, мускулистый и коричневый от загара. Он обращался со мной, как с равным.

Находиться постоянно в клубах пара было вредно. Все русские, работавшие у печей – и мужчины и женщины, – получали поэтому ежедневно дополнительно литр молока. У военнопленных такой привилегии не было.

Смоловар объяснил мне кое-как по-русски, что работа опасна для желудка и кишечника. Он показал на пар, потом на свой живот и сказал:

– Работа – не хорошо, скоро – больной.

При этом он изобразил жестами понос и рвоту.

– Вот увидишь!

Потом он вручил мне лопату, полотно которой было загнуто под прямым углом вверх, как у кирки, и объяснил, что я должен делать на грузовиках.

Небольшие грузовики подъезжали по очереди задом на погрузку. В каждый кузов была вставлена специальная деревянная конструкция, защищавшая дно кузова от смолы. Это была двускатная крыша из плотно пригнанных друг к другу еловых досок, намного возвышавшаяся над бортами кузова. Смола заливалась в пространство между бортами и скатами крыши. Сидя верхом на крыше лицом к печи, я должен был подгрести специальной лопатой дымящуюся смолу. Она стекала по скатам крыши к бортам и растекалась вдоль них по всей длине кузова.

На гребне крыши надо было сесть как-нибудь так, чтобы не испытывать острую боль между ног.

Чтобы поддерживать пламя под смоляными брусками, приходилось время от времени подкладывать дубовые поленья, сложенные стопкой рядом с печью. Это позволяло делать паузы.

Горячий дым и жара проделали в снегу огромную дыру.

Пот тек из-под шапки, заливал лицо. Мороза оно не чувствовало.

Тяжелые условия работы не были ни умышленным издевательством, ни программой по уничтожению. Они были следствием жесткой необходимости выполнить план, безжалостную норму. Приходилось импровизировать, требовать почти невозможного от животных, материала, собственной и чужой рабочей силы.

Заказ был превыше всего, хотя его выполнение и приближалось к гротеску или абсурду. Только так можно было понять следующие работы:

- в выкопанном круглом котловане люди, два осла и лошадь должны были ногами и копытами месить кашу из песчаной глины, воды и мелкой соломенной сечки, стоя в этой каше по щиколотку, – потому что отсутствовала машина-мешалка, изготавливающая штукатурку для покрытия домов;

- прорвавшееся в траншею болото вычерпывали с помощью цепочки военнопленных, стоявших голыми в воде и передававших друг другу ведра, – поскольку был сломан насос;

- деревянные балки нарезались из стволов вручную, при этом двое заключенных или военнопленных должны были выпиливать их поперечной пилой, применявшейся обычно при вырубке леса, – потому что слишком далек был путь до лесопильни;

- балки и профильную сталь носили на себе, иногда даже на самые верхние этажи строившегося дома, группами по двадцать человек – потому что не было крана;

- на сорокаградусном морозе в газопроводной траншее работали ломami, – лопата замерзшую землю не брала.

Дней через десять меня начал мучить водянистый понос.

Пар и дым задушили чувство голода. В качестве одновременно и еды и лекарства остались только посыпанные черным углем кусочки хлеба, которые я поджаривал по вечерам в струе пламени газовой горелки. Огуречный суп и капусту я отдавал товарищам, чьи желудки были в порядке.

В обеденный перерыв я отпросился у смоловара: возвращаться в лагерь на обед не хотелось. Он должен был подтвердить, что я не сбежал, а пошел искать котельную, чтобы лечить себя прогреванием. Прощаясь, он похлопал меня по плечу:

– Я же говорил тебе.

В котельной, большой отопительной станции, я жестами объяснил работающей там крепкой русской женщине, что мне было нужно. Она сразу поняла, собрала несколько пустых мешков из-под угля и разложила их на большой железной крышке над огнем. Показав рукой на живот и подперев руками подбородок, она подсказала мне положение тела, которое я уже и сам успел для себя придумать.

Застланное ложе было прекрасным. Сквозь распахнутое пальто в тело проникала жара, смягчаемая мешковиной и потому переносимая.

Мой пустой желудок наслаждался теплом.

Приятное спокойствие было прервано пинками по ногам. Надо мной яростно кричал немецкий лагерный комендант:

– Встать, вон отсюда, в лагерь! Что ты тут разлегся?

– Меня мучают боли в желудке и понос.

Поскольку я продолжал лежать, он снова пнул меня ногой.

Тогда русская работница сняла со стены кочергу и, замахнувшись, как лесоруб топором, закричала:

– Он же болен! Ты что, не видишь?!

Комендант прекратил пинать меня и выругался.

– Вечером чтоб был у врача!

Он вышел из котельни.

Кочерга снова висела на месте. Успокаивающий жест дал мне понять, что можно продолжать лежать.

Вечером, когда надо было возвращаться в лагерь, я поблагодарил русскую работницу и покинул котельню – с хорошо прогретым животом.

Немецкий лагерный врач уже был проинформирован. Он измерил температуру – 38,6 – и дал мне две таблетки, заметив при этом:

– Вы дорогой пациент. Вот это вот стоит восемь рублей. Завтра выходите снова на работу.

Когда я ответил, что меня не интересует цена и что я хочу быть здоровым, он пришел в негодование от моей наглости.

В бараке товарищи спросили:

– Ну что у тебя? Получил больничный?

Через несколько минут свой ответ я повторял уже в кабинете врача, куда был снова вызван.

Врач пытался уточнить:

– Вы действительно назвали меня тупым службистом?

– Да, я так сказал. И еще я сказал, что к такому, как вы, нужно приходить, уже сразу держа голову под мышкой.

Осведомитель успел все донести.

12.

## «Работать?» – «Работать!»

В ТОТ ДЕНЬ я шел вместе с русским солдатом по снежному полю. По слабому солнцу можно было приблизительно определить время. Охранник нес свою винтовку через плечо, к винтовке был прикреплен штык – обычное тогда колющее оружие. Он был зол, потому что для нас не нашлось машины.

На ломаном русском я высказал ему что-то похожее на соболезнование из-за этой пешей доставки – три часа туда, три обратно. Он не произносил ни слова, если не считать отдаваемых сзади команд по поводу пути.

Когда мы выходили, я спросил о его возрасте. Ему было девятнадцать, на три года меньше, чем мне. Призван он был всего год назад.

После утренней выдачи хлеба мне приказали собираться для перевода в лазарет другого лагеря при какой-то большой стройке. Поводом стала, наверное, стычка с немецким врачом, и, может, заступничество русской, которая пошла на немецкого коменданта с кочергой в руке.

Бумаг моих охраннику с собой не дали, решили дослать их позже.

Охранник доставил меня в лазарет, когда как раз начался обход. Русская врач выделила мне кровать и спросила:

– Что у вас?

– Тяжелый понос.

Она пришла в ярость:

– Это невозможно, это саботаж!

И грозно добавила:

– Посмотрим! Пробу!

Мне выдали плоскую широкую миску с ручками.

Медики двинулись дальше – в комнате у стен стояло еще семь кроватей. Обойдя всех, врач вернулась к моей кровати в сопровождении своего немецкого коллеги.

– Где проба?

Я вытащил миску. Проба выглядела чудовищно.

Она закричала:

– Паразит... у нас сейчас период пшена... это невозможно... саботаж... двадцать лет принудительных работ!

За ее спиной немецкий врач жестами показал мне, чтобы я не спорил и дал отбушевать ее ярости.

Потом он перевел ей мои тихие возражения:

– На асфальтовом заводе сейчас период огурцов и капусты. Работа у смоляной печи вредна для желудка и кишечника. Так и возник понос. До этого, на лесопильне, все было намного лучше.

Выражение ее разгневанного лица смягчилось.казалось, она начала понимать.

– Посмотрим, – сказала она и вышла из палаты.

Слово «саботаж» было опасным клеймом. Пустого подозрения могло оказаться достаточным для наказания: раз кто-то кажется саботажником, таков он и есть!

Необходимо было изменить впечатление, рассеять подозрения.

Очевидно, мои бумаги с пометкой, что я когда-то уже саботировал, подрывая здоровье, до врача еще не дошли. Мне оставалось совсем немного времени, чтобы успеть завоевать доверие.

Было время обеда. Разносили еду: суп с пшенной крупой и несколькими каплями подсолнечного масла, к нему – горбушка белого хлеба, 270 г.

Суп я обменял на утренние 200 г хлеба. Вместе с вечерними кусочками, также 200 г, и положенным в придачу стаканом чая в моем распоряжении оказалось в итоге все необходимое для самопрописанной многодневной строгой диеты. Кроме того, у меня были ломти хлеба, которые я ежедневно выменивал на порцию маргарина и сахара.

Кусочки нарезанной горбушки я поджаривал в огне палатного камина на проволочной решетке, пока они не становились черно-коричневыми. У меня было достаточно времени для этого кропотливого процесса. Сидя у камина, я задирал рубашку, чтобы прогревался живот.

Черно-коричневая стопочка три раза в день вырастала и убывала.

Самопрописанное лекарство тщательно дозировалось: в течение дня друг друга планомерно сменяли куски обугленного хлеба, несколько глотков чая и прогревание.

Быстро появились первые результаты, и я с гордостью ждал похвалы врача. Но она не обращала на меня внимания, ни словом, ни взглядом. Во время обхода она не задерживалась у моей кровати, как будто та была не занята.

Немецкий врач ухмылялся.

К четвертому обходу я выработал план. Врач обязательно должна была меня заметить. Я мысленно во всех подробностях проиграл всю сцену.

Все произошло, как я и задумал. Но я столкнулся с опасным испытанием, выдержав которое, заслужил гораздо больше, чем доверие врача.

Немецкий врач предупредил меня об обходе. Я лег на бок, придвинувшись к стене, спиной к проходу, и стал перелистывать альбомчик с фотографиями своей семьи. Я слышал, как обход двигался от кровати к кровати, слышал вопросы и ответы по поводу анализов и самочувствия. И вдруг за моей спиной раздался восторженный возглас:

– Фотокарточки! Покажите-ка!

Я повернулся и выложил ей несколько фотографий на свободную часть матраца.

– Frau Doktor, poschalusta.

Ей понравились фотографии сестер, платья и передники, которые сшила мама, меняющиеся с годами лица. Она залюбовалась портретом матери, тридцатилетней женщины, у которой тогда было уже трое детей.

Я отдал ей весь альбомчик, она начала листать его с конца. Дойдя до моей фотографии, она спросила, сколько мне на ней лет.

– Семнадцать, я тогда уже был солдатом.

– Боже мой! Такой молоденький!

Последней фотографией, которую она открыла, была помещенная на первой странице фотография моего отца. Тогда ему было сорок лет. Сияя, она спросила:

– Очень хороший человек... Папа?

Я кивнул.

– Что он делает?

– Wratsch, doktor.

– Коллега, он наш коллега! – обрадовалась она.

– Папа – ваш коллега, – подтвердил я.

Вытянув руку с альбомчиком, она с нежностью рассматривала фотографию. Потом она с шумом захлопнула его, отдала мне, и спросила:

– А как ваши дела?

- Хорошо.
- Все еще понос?
- Прошел.
- Проба есть?

Я вытащил миску с мягко переваренной хлебной кашей.

Она удивилась:

- Как вам это удалось?
- Я три дня ел только обугленный хлеб. Я поджаривал его в огне камина.
- Откуда вы знали, что нужно делать?
- Мой отец врач, ваш коллега.

Она повторила задумчиво:

- Отец врач... Коллега...

В ее голосе все еще звучали нотки недоверия.

Имея за плечами работу на смоловарне и всего лишь три дня постельного режима, я еще очень плохо держался на ногах.

Я знал, что подразумевалось, когда спрашивали о самочувствии.

Врач не остановилась, она пошла до конца.

- А что с работой? – спросила она.
- У меня больше нет поноса. Я могу работать.
- Вы можете снова работать?
- Да.
- Завтра?
- Завтра.

Она не спускала с меня глаз.

- А сегодня?
- Сегодня.

Она испытывала меня.

- Сейчас?

Я сел в постели.

– Сейчас.

Она переспросила:

– Встать сейчас? Работать? Немедленно?

Я отбросил одеяло.

– Сейчас... Немедленно!

Она внимательно меня рассматривала.

– Вставайте! – приказала она.

Послали за моими вещами. Стоя у моей кровати, она распорядилась:

– После раздачи еды пойдете на работу.

Потом сказала немецкому врачу:

– Пусть бригадир заберет его на обед прямо сейчас.

Я медленно стал одеваться. Мои движения должны были выглядеть уверенными.

Я упаковал в мешок оставшийся жареный хлеб.

Она молча за всем наблюдала.

Пришел бригадир.

На прощанье она еще раз спросила:

– Все в порядке? Все хорошо?

Мы посмотрели друг на друга.

– Harascho.

Бригадир повел меня с собой. Я чувствовал, что врач смотрит мне вслед и старался идти, не шатаясь.

У входа на стройку я открылся бригадиру. Я рассказал ему о только что выдержанном экзамене.

Он поставил меня носить воду для замешивания бетона. Таким образом он уберег меня от таскания навверх тяжелых металлических балок – рискованной работы не только для меня, но и для товарищей внизу.

Под вечер меня разыскал парикмахер.

– Я должен тебе после ужина сбрить волосы, из-за вшей.

– Почему так поздно?

– У повара почечные колики, и по состоянию здоровья он не может ехать домой. Врач сказала, что поедет мальчик с поносом. Должно быть то же число.

На следующее утро меня перевели в лагерь, расположенный поближе к железнодорожной станции.

Вспыхнул последний огонек.

Он освещал мне дорогу домой, в натопленном товарном вагоне – в ноябре 1948 года.

Он светил над всей долгой-долгой дорогой, по которой было рассыпано много других огоньков – ярких, как звезды на небе.

## Послесловие

В 1985 ГОДУ я смотрел один фильм. В массовке, изображавшей школьный класс, среди статистов был мой сын.

Фильм, поставленный по роману Лиона Фейхтвангера, рассказывал историю еврейской семьи Опперманн. Школьники на цветном экране молча слушали своего учителя. К отвороту его пиджака был приколот партийный значок.

Учитель зачитал официальный указ, суть которого сводилась к двум фразам: «С сегодняшнего дня евреи не имеют больше права на обучение в немецких школах. Они должны немедленно покинуть школу».

Еврейские дети теперь уже не были частью своего класса. Они сбились в маленькую кучку посреди классной комнаты и так стояли, потерянные, какое-то время. Потом они исчезли со своими ранцами за дверь, которую учитель собственноручно закрыл за последним из них.

Эта сцена оживила в моей памяти картины из собственного детства – то, что я так и не смог забыть.

Воспоминания наложились, как калька на происходящее на экране. Пережитое мною переплелось с кадрами фильма.

Живые ученики отодвинули в сторону статистов. Настоящие еврейские дети снова смотрели на свой класс и на меня.

На самом деле эта история имела два акта.

Первый начался в 1935 году, в мужском классе народной школы Шнайдемуля, в обычный школьный день.

Нам было по девять лет, мы ходили в третий класс.

Носящий партийный значок учитель сообщил нам об особом распоряжении: «Пять еврейских учеников должны покинуть свои места за партами рядом с немецкими учениками и сесть позади штрафной парты. Саму штрафную парту и следующую за ней оставить незанятыми».

Штрафная парта в левом крайнем ряду отделяла четыре последние парты от всего класса. До сих пор учитель сажал туда только тех, кто украл, солгал или не выполнил домашнее задание.

Ни один из пяти евреев, учившихся в нашем классе, своим поведением подобный «отбор» не заслужил.

Напрашивался простой вывод: с сегодняшнего дня «быть евреем» равнозначно краже или лжи и заслуживает наказания – специальной парты, отделенной от всего класса.

Распоряжение из уст нашего уважаемого и, несмотря на строгость, любимого учителя все мы выслушали молча, без протеста, не вспомнив о действовавших до сих пор правилах, восприняли как публично объявленную эпидемию проказы.

Сам я, в спорах с родителями и сестрами всегда проявляющий ярко выраженное чувство справедливости, не только промолчал вместе со всеми, но, как и все остальные, позже никак не поддержал на школьном дворе стоявших в стороне униженных одноклассников.

Смутная догадка, что эта несправедливость творится с согласия всего общества и что поэтому возмутиться означает выделиться из всех остальных, даже в ребенке задушила естественные человеческие реакции.

И лишь во втором акте, примерно через четыре недели после первого, учитель (настоящий наш учитель, за пятьдесят лет до учителя из кинофильма) прочел официальный указ, согласно которому еврейские ученики должны были покинуть своих одноклассников и народную школу Шнайдемюля – навсегда.

Пришедшее позже чувство горечи от того, что прегрешил уже в детском возрасте, не проявив участия, не поддержав, когда это было возможно, отягощает совесть. Часто высказываемые через годы на встречах класса заверения, что ребенок не может быть виноват, звучали неубедительно и не успокаивали совесть.

Когда с возрастом я понял, что не зажег огней для других, – свет огней, зажженных другими для меня, стал еще ярче.

Через три года после исключения еврейских учеников в Шнайдемюле горела синагога. Клубы дыма покрыли копотью весь город.

После уроков я пошел в направлении черного облака – мимо разрушенных еврейских лавок, мебель и товары из которых валялись на улице. Под ногами хрустели осколки витрин.

Я поймал на ветру два летящих над площадью опаленных листочка из Торы.

Кордон пожарных – плечом к плечу – окружил синагогу, постепенно превращавшуюся в сноп дыма.

Вечером я спросил у отца, почему пожарные направляли воду из шлангов в небо, вместо того чтобы тушить пожар. Данное мне объяснение, что водяная стена защищала от огня стоявшие рядом немецкие дома, не было ответом на мой вопрос.

– Но синагога же горела. Ей нужна была вода.

Тогда отец сказал:

– Это ужасно.

Когда во всех немецких городах горели синагоги, происходившее уже обозначилось четко. Зверскими преступлениями руководило государство.

Каждый, кто хотел знать, мог знать.

Каждый должен был знать.

Увиденное, пережитое и услышанное от членов семьи дополняли друг друга.

В 1940 году, на второй год войны, отец вернулся из отпуска, проведенного в одном имении в Шлезии.

Управляющий имением, полковой товарищ отца по Первой мировой войне, со шрамами на щеке от сабли, приказал деревенскому жандарму открыть пожарный ангар. В нем евреи должны были дожидаться отправки в лагерь.

Вне себя от ужаса отец рассказывал, как жандарм за-талкивал в маленький ангар согнанных со всей деревни евреев. Впереди всех стоял мужчина, чей выбитый глаз свисал по щеке на сухожилии.

Мой отец, врач, не решился помочь раненому и перевязать рану хотя бы носовым платком.

Сестра моего отца была призвана на службу в Красный Крест и работала на Бреслауерском вокзале.

Морозными ночами зимы 1942-1943 годов она подносила к идущим на фронт поездам горячий чай в двух больших чайниках.

Однажды натоленный поезд с солдатами стоял рядом с холодными грузовыми вагонами с решетками на окнах из колючей проволоки. Из окон тянулись руки меченных шестиконечными звездами.

Поезда стояли друг от друга на расстоянии двух вытянутых рук.

Ни одного стакана не подала сестра из Красного Креста за решетку.

Спустя два года город Бреслау был взят Красной Армией.

Немецкие сестры из Красного Креста могли или стать военнопленными и оказаться в лагере, или ухаживать за больными русскими бойцами, которые боролись с тифом, холерой, дизентерией и туберкулезом.

Сестра отца пошла в инфекционный лазарет. Ее работа была особо отмечена русскими военврачами. К ней относились с уважением.

Она могла приносить из лазарета продукты и медикаменты восьмидесятилетнему отцу, городскому санитарному советнику, продолжавшему принимать своих пациентов в подвале, куда он был выселен с семьей.

От перестилания постелей русским больным у сестры моего отца на всю жизнь осталась сгорбленной спина.

И в человеке в униформе можно было разглядеть человека.

Пережитые страдания и страдания, причиненные другим, становились неотделимыми друг от друга.

Каждый человек каждый день имеет возможность выбора – поступить так или иначе.

17 июня 1953 года, во время известного восстания рабочих ГДР, отец сидел в своем рабочем кабинете главного окружного врача.

На узенькой улице бушевала толпа, доносились яростные крики: «Вышвырнуть эту свинью из окна!»

Мгновение спустя отец стоял на противоположной стороне улицы в дверях дома, где мужчина пытался втащить вверх по лестнице осведомителя госбезопасности.

Отец представился бурлящей толпе. Одним-единственным закливающим предложением он спас осведомителю жизнь: «В присутствии врача ни один человек не будет выброшен из окна».

Отец ни разу не говорил мне о связи между этим заступничеством и не оказанной им когда-то у пожарного ангара помощью. Но я понял это по выражению его лица: по выражению ужаса от своего бездействия тогда, в 1940-м, и удовлетворения от действенности собственного поступка в 1953-м.

Отбушевавшая война оставила на развалинах зеркала или, по крайней мере, их осколки, в которых, если захотеть, можно, заглянув, увидеть себя и других. Она оставила и эту вереницу огней, этот памятник-рассказ – памятник мертвым, неизвестным, ненайденным. Хотелось бы, чтобы он помог осознать: каждый человек всегда, при любых обстоятельствах, может нести добро другому человеку.

## Данциг\*, музей рассказа

В НАЧАЛЕ МАЯ 1995 ГОДА я познакомился в Данциге с женщиной, которая готовила к пятидесятилетию немецкой капитуляции выставку в ратуше старого города. Выставка была посвящена памяти узников концентрационного лагеря Штуттхофф и проводилась под девизом «Фрагмент как маленькое целое».

В той же ратуше старого Данцига проходила конференция, посвященная художественному творчеству инвалидов, в которой я принимал участие.

В монастырской гостинице мы разговорились.

Зигрид Зигурдсон проехала прошедшей зимой вместе с польским переводчиком весь «путь смерти» заключенных – от Штуттхоффа до Вейгерово\*\*. В ратуше каждого города она оставляла две шкатулки с листами белого картона: одну для воспоминаний тех немногих заключенных концлагеря Штуттхофф, которые выжили, или их родственников, другую – для воспоминаний тех, кто стоял тогда на улице или у своих окон и смотрел на проходящие колонны.

Отец Зигрид Зигурдсон тоже пережил немецкий концлагерь. Он умер вскоре после своего освобожде-

---

\* Немецкое название города Гданьск (Польша).

\*\* Зимой 1945 года лагерное начальство, опасаясь наступления советских войск, приказало перегнать всех заключенных в город Вейгерово. Почти все заключенные погибли, не выдержав этого этапа.

ния, так и не оправившись от последствий заключения.

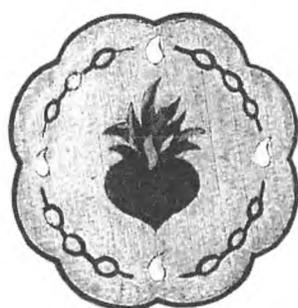
Зигрид Зигурдсон обратилась ко мне с предложением, которое я немедленно принял. С помощью поисковой службы Красного Креста я долгие годы разыскивал людей, благодаря которым смог выжить, но найти их мне так и не удалось. Отныне я мог бы хранить свои воспоминания о них – об их помощи, спасшей мне жизнь, – в одной из шкатулок на этой выставке.

Через два дня был готов мой первый рассказ, через четыре с половиной года – последний.

Воспоминания следовали лейтмотиву выставки – «Выставка как процесс». Мой опыт заключенного стал фрагментом целого.

Белые листы бумаги заговорили.

Сегодня эта шкатулка стоит в Данцигском музее рассказа, в специально оборудованном под музей подвальном помещении старой ратуши, и ежедневно доступна для чтения посетителей.



## Содержание

От переводчика . . . . .	3
Разговор в комнате пастора . . . . .	7
<b>«Вереница огней» – истории одного плена</b>	
1. Moshna . . . . .	16
2. Страхи . . . . .	22
3. Причащение . . . . .	29
4. Листья каучукового дерева . . . . .	34
5. «Спать, спать, а то – капут!» . . . . .	41
6. Do swidanija . . . . .	50
7. Шипы и розы . . . . .	56
8. Медальон . . . . .	65
9. Закон и наказание . . . . .	69
10. Предложение . . . . .	78
11. «Он же болен!» . . . . .	82
12. «Работать?» – «Работать!» . . . . .	87
Послесловие . . . . .	94
Данциг, музей рассказа . . . . .	100

Литературно-художественное издание

**Детлеф Крамер**  
**Истории одного плена**

Перевод Анны Шор-Чудновской

Редактор Л.С.Еремина  
Корректор Л.В.Емельянова  
Художник А.А.Кулаков

ИД № 05507 от 1.08.2001  
Подписано в печать 25 июля 2002 г.  
Формат 90х60/16  
Бумага офсетная №1  
Печать офсетная  
Усл. печ. л. 6.5  
Тираж 1000 экз.  
Заказ

**Издательство «Звенья» работает  
при поддержке Ассоциации  
«Дорога свободы»**

Общество «Мемориал»,  
Просветительско-издательский центр «Звенья»  
103051 Москва,  
Малый Каретный пер., 12

## Об авторе

**Детлеф Крамер** родился в 1926 году в Штеттине. Во время войны окончил общеобразовательную школу с военной спецподготовкой и получил аттестат помощника артиллериста. В самом конце войны, в апреле 1945 года, был отправлен на фронт. В 1945–1948 годах провел 42 месяца в советском плену. По возвращении окончил художественное училище «Бург Гибихштайн» в городе Халле-на-Заале и стал мебельным мастером. Позднее поступил на факультет трудовой педагогики Берлинского университета. С 1952 по 1972 год преподавал в школах, с 1972 по 1991 – профессор педагогического факультета Свободного Берлинского университета на кафедре «Трудовая педагогика для детей-инвалидов». Параллельно с преподаванием по просьбе «Инициативной группы родителей детей-инвалидов из Берлин-Нойкельна» создал и возглавил детский ансамбль металлофонистов. В 1992 году основал сообщество «Интеграция через музицирование». Помогал в развитии музыкальной социальной работы в Польше. С 1991 года – на пенсии, но не перестает работать: время от времени по приглашению различных берлинских институтов читает лекции, ведет семинары в Германии, Польше и Греции по социальной интегративной оркестровой работе. В 1997 году был награжден «Крестом за федеральные заслуги» в связи с проводимой в Германии и Польше музыкальной социальной работой.